

К. В. ДУБРОВСКИЙ

ДЕКАБРИСТЫ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

К СТОЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
МОСКВА – 1925

М. Плаксин

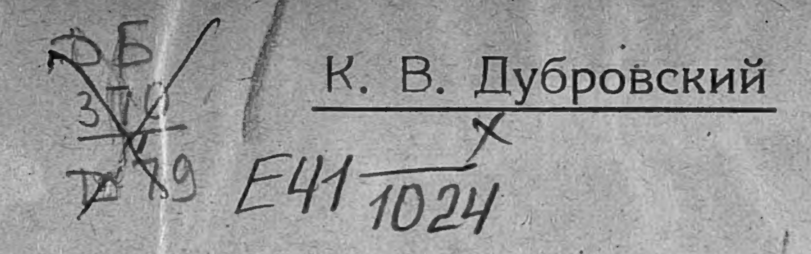
ИЗДАТЕЛЬСТВО

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА".

МОСКВА, Тверская ул., 15. Телеф. 2-56-86.

Троцкий, Л. Красная памятка (в перепл.)	— р.	30 к.
Бубнов, А. Воинская дисциплина и партийная организация	— „	30 „
„ Красная армия и единоначалие	— „	50 „
Гусев, С. Наши разногласия в военном деле	— „	30 „
Король, А. История Красной армии и гражданской войны	1 „	60 „
Павлович, М. Русско-японская война (3-е изд., 1925 г.)	1 „	— „
Красная армия в 1924 г. (сборник статей т. т. Фрунзе, Уншлихта, Бубнова и др.)	1 „	— „
Стенографический отчет совещания секретарей ячеек при ПУР'е	— „	80 „
Зиновьев, Г. Е. Рабоче-крестьянский Союз и Красная армия	— „	20 „
Коренев, Г. Е. „За новый мир"—Красноармейский чтец-декламатор	1 „	50 „
„Шлем"—Стихи о Красной армии	— „	40 „
Рюмин, Евг. „Ленинские юнкера" (пьеса в 4-х дейст. и 5 картинах)	— „	50 „
Мишеев, Н. И. „Гвозди" (пьеса в 3 актах и 9 карт.)	— „	80 „
Курдюмов, Вс. „Кто нужнее, кто важнее?"—Спортивно-театральное представление для морских и комсомольских клубов	— „	80 „
Вакулин. „Шахматист". Справочная книга шахматиста со вступит. статьей маэстро И. Л. Рабиновича	2 „	— „
„Красная Звезда"—Военно-политическая игра с автоматическим посредником	3 „	— „
Плакат т. Ленин, разм. 72×108 см.	1 „	25 „
Плакат-портрет т. Фрунзе, разм. 72×108 см.	1 „	25 „
Портрет т. Ленина, разм. 72×108 см.	— „	50 „
„ „ Уншлихта, разм. 54×72	— „	50 „
„ „ Бубнова, разм. 54×72 см.	— „	50 „
„ „ Каменева, С. С., разм. 54×72 см.	— „	50 „
„ „ Ворошилова, разм. 54×72 см.	— „	50 „
„ „ Буденного, разм. 54×72 см.	— „	50 „
Плакат „Про Анику-Воина — Степку-растрепку"	— „	50 „
„ „Не страшен газ, когда есть противогаз	— „	50 „


КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО



К. В. Дубровский

ДЕКАБРИСТЫ

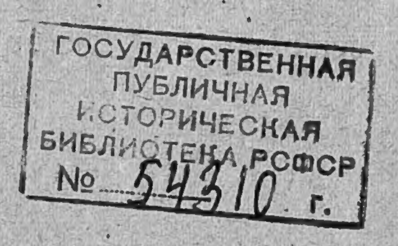
Историко-революционная хрестоматия

К столетию восстания декабристов

1825—1925

С предисловием В. Д. Виленского-Сибирякова

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“
МОСКВА—1925



Москва, Главлит № 41893, 1925 г. Тираж 7.500 экз.

Калуга, 1-я государственная типо-литография.

. . . Мы готовы обнажить головы перед декабристами—более ранним поколением буржуазных революционеров, которые шли в бой против царизма. Эти люди, представлявшие собою, в буквальном смысле слова, сливки аристократии, дворянства и офицерства, отделились от своего класса, порвали с семьями, оставили свои привилегии и вступили в борьбу с самодержавием. Пусть они не имели социалистической программы, пусть они были только буржуазными революционерами, но наше поколение не отказывается от этого наследства. Мы говорим, наоборот, что это—СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ! . .

Г. ЗИНОВЬЕВ.

(История Росс. Коммун. Партии (б.).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Столетие декабристов.

В этом году советская страна будет праздновать столетие декабрьского восстания 1825 года. Это была попытка свержения самодержавия путем вооруженного восстания, которая хотя и исходила из среды привилегированного класса (дворянства) того времени, но по своим идеям являлась исходной для русского революционного движения XIX и начала XX в. в.

Декабристы, это — с одной стороны, отражение идей Великой Французской революции в условиях русской действительности; с другой — это было движение передовых отрядов той части дворянства, которая, в условиях развивающегося товарного хозяйства, перерождалась в российскую буржуазию. Это были в большинстве те русские офицеры, которым во время наполеоновских войн, после 1812 года, пришлось побывать в Европе и подышать ее революционным воздухом и которым позднее пришлось сравнить с нею убогую русскую действительность, полную нищеты, произвола и бесправия. Это были те, кто понял несоответствие между натурально-крепостническим хозяйственным укладом России и теми процессами превращения этого хозяйства в товарно-денежное, которые диктовали необходимость поисков выхода из тупика, куда загнало Россию самодержавие.

Ленин, оценивая роль и значение декабристов, сказал, что они «разбудили Герцена», который начал свою революционную агитацию. В этом Ленин видел огромную историческую заслугу декабристов. Но историческое значение их этим не ограничивается. Если мы сейчас посмотрим на декабристов и на их революционное наследство, то мы увидим в их деяниях и в их революционном опыте много таких

элементов, которые позднее вошли в практику русского революционного движения и получили здесь свое дальнейшее развитие.

Декабристы — это конспиративная революционная организация, которая подготовляла свержение самодержавия путем вооруженного восстания. Декабристы вели агитацию и пропаганду в целях вовлечения в движение широкой массы солдат. Декабристы выдвинули, в качестве средства борьбы с царизмом, дезорганизаторскую деятельность в виде террора, а также и идею цареубийства. И пропаганда, и агитация, и терорр, и вооруженное восстание — все это, как методы борьбы, нашло свое применение в арсенале борьбы русских революционеров с самодержавием на протяжении тех ста лет, которые отделяют нас от декабрьского восстания 1825 года.

Но особенное значение для нас имеет, конечно, вооруженное восстание декабристов, которое они подготовляли и которое, с нашей точки зрения, является наиболее могучим оружием революции. Конечно, вооруженное выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря, как и выступление Черниговского полка, были изолированными выступлениями, которые без поддержки народных масс были обречены на поражение. Но самая идея вооруженного восстания от этого не теряет своего значения и она на протяжении всей истории русского революционного движения приковывала к себе внимание революционеров, побуждала ставить вопрос о революционной работе среди войск, как это делали народовольцы, а позднее и другие революционные партии, в особенности же—большевики.

Позднее, когда на арену революционной борьбы вышли рабочие массы, идея вооруженного восстания претворилась в вооруженное восстание рабочего класса, поддержанное всеми трудящимися, заинтересованными в свержении царизма. В этом отношении восстание Черниговского полка нам ближе, как имеющее более революционное значение сравнительно с тем, что произошло на Сенатской площади 14 декабря. Прав народоволец М. Ю. Ашенбренер, который, изучая декабрьское восстание, сказал: это был пример того,

как не нужно устраивать восстания. Он имел в виду то отсутствие инициативы, которое привело декабристов к поражению на Сенатской площади.

Однако, декабристы свою неудачную тактику искупили тем героическим мужеством, с которым они приняли приговор Николая I, пославшего пятерых из них на эшафот, а сотни других — в каторгу и ссылку. История вписала имена декабристов на свои страницы, как одних из основоположников русского революционного движения.

В настоящей историко-революционной хрестоматии, составленной К. В. Дубровским, собраны наиболее существенные отрывки из того, что писалось декабристами о себе или исследователями декабрьского восстания 1825 года В большинстве это — исторические документы, и только несколько отрывков Д. С. Мережковского представляют собою попытки художественно-литературного оформления истории декабристов.

Для широкого читателя, на которого рассчитана эта хрестоматия, не имеющего времени копаться в исторических исследованиях, посвященных декабристам,—эта работа даст достаточно интересного и ценного материала, на основании которого он сможет уяснить себе: кто такие были декабристы и за что они боролись.

Столетний юбилей декабристов к этому обязывает.

Вл. Виленский-Сибиряков.

В. И. Ленин о декабристах.

(Вместо введения).

Декабристы принадлежали к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века.

Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых [1]), пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, секунов-серальников [2]) да прекраснодушных Маниловых.

„И между ними — писал Герцен [3]) — развились люди 14-го декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем [4]), молоком дикого зверя. Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины — подвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия“.

К числу таких детей принадлежал и сам Герцен: восстание декабристов разбудило и очистило его...

Узок был круг этих революционеров. Страшно далеки они были от народа. Но их дело не пропало.

---

[1]) Бирон—всесильный временщик, правивший Россией в середине XVIII в., в царствование Анны Ивановны. Об Аракчееве см. ниже в этой книге.

[2]) Секуны-серальники — дворяне-помещики, секшие своих крестьян (иногда до смерти), насиловавшие крестьянских девушек и заводившие у себя серали (иначе—гаремы) из подневольных наложниц.

[3]) Герцен Ал-р Ив. (1812—1870 г.) знаменитый публицист, эмигрировавший в царствование Николая I за границу и там издававший первый русский свободный журнал „Колокол“, оказавший огромное влияние на развитие революционных идей в России.

[4]) Ромул и Рем—легендарные юноши—братья, вскормленные, по преданию, молоком волчицы и положившие основание г. Риму.

Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили и укрепили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского[1]) и кончая героями „Народной Воли“[2]).

Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. „Молодые штурманы будущей бури“,—звал их Герцен. Но это была еще не самая буря.

Буря—это движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян...

В. И. Ленин.

(Из ст. „Памяти А. И. Герцена“,—собрание сочинений В. И. Ленина, т. 12, ч. I).

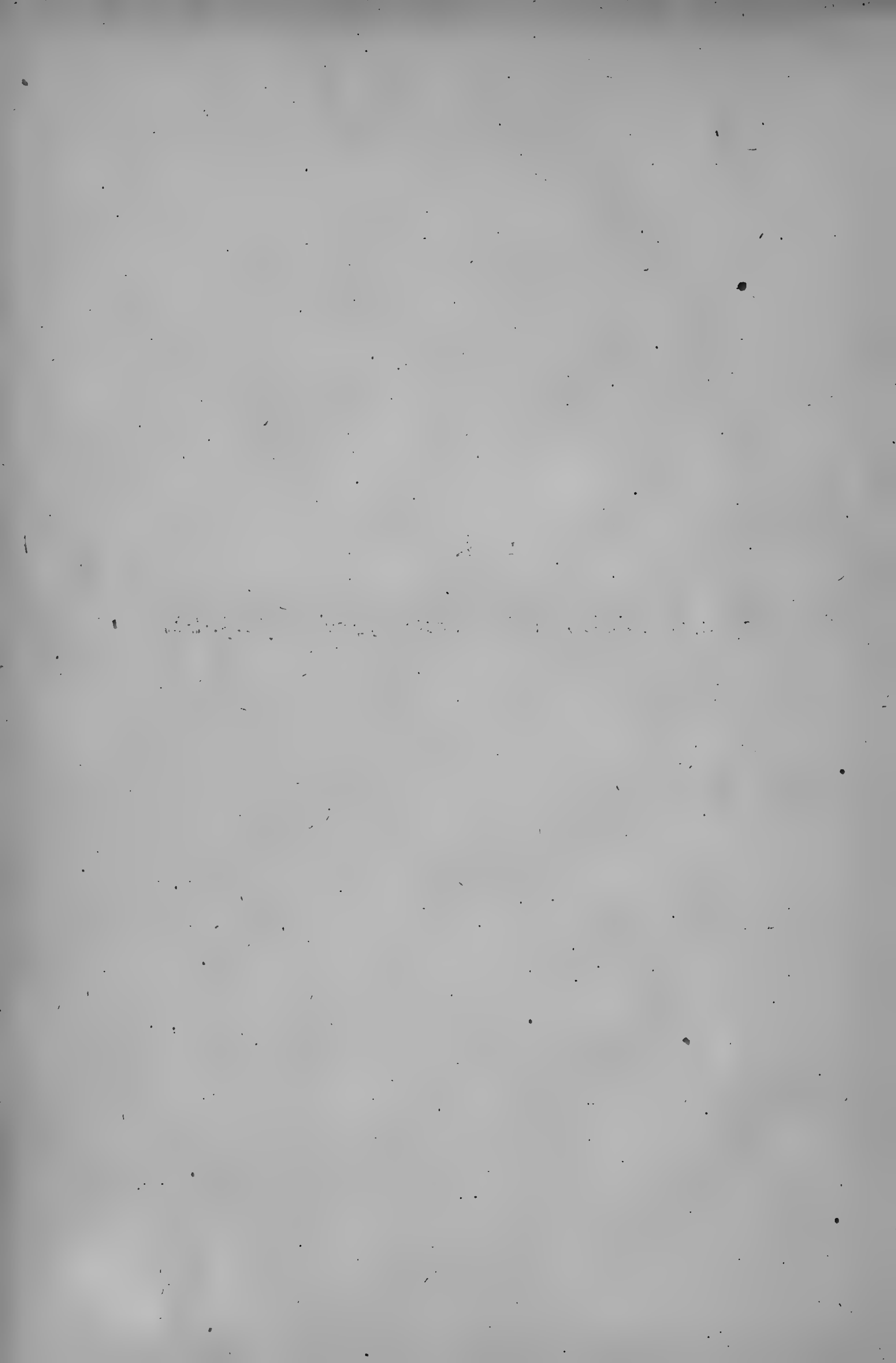
---

[1]) Чернышевский, Ник. Гавр. (1828—1889) известный публицист, экономист и родоначальник революционного народничества. Был арестован царским правительством в 1862 г. и сослан в Сибирь, где провел в заключении 20 лет.

[2]) Народная Воля—революционная организация 70—80 г.г., сыгравшая у нас выдающуюся роль в истории борьбы с самодержавием. По ее приговору был казнен 1 марта 1881 г. Александр II-й.

I.

Предпосылки и цели декабризма.



Экономические предпосылки декабризма.

14 декабря 1825 г. в столице России — Петербурге — случилось событие огромной важности. Часть войск числом до 2.000 чел. с оружием в руках явилась на Сенатскую площадь и открыто пред всей Россией заявила свой протест против царившего в стране произвола и бесправия: она потребовала уничтожения самодержавия и установления в России народного правления.

Это событие в русской истории носит краткое, но выразительное название: *14 декабря.*

Людей, которые подготовили его и принимали в нем участие, называют *декабристами.*

В свое время восстание декабристов потрясло всю образованную Россию своею безумной смелостью и величием замысла. Даже в крепостном народе, как святая легенда, из поколения в поколение переходил рассказ о попытке декабристов освободить крестьян. Калики перехожие и старики шопотом и с опаской, но с любовью и благоговением передавали молодежи рассказы о Рылееве и других, хотевших добыть волю народу.

Чтобы вполне понять и оценить происхождение, историю и смысл восстания декабристов, необходимо хотя бы в немногих словах ознакомиться с состоянием России в первой четверти XIX в. и теми событиями, которые подготовили 14 декабря.

Развитие денежного хозяйства, начавшееся еще в Московской Руси в XVI веке, неизменно шло вперед в течение XVII и XVIII вв. Реформы Петра I, по словам выдающегося историка, явились результатом буржуазного шквала, налетевшего на Россию.

В XVIII веке, при господстве натурального хозяйства, торговый оборот начинает захватывать все большие и большие круги населения. Это видно из того, что внешняя, особенно

морская, торговля значительно расширилась к концу XIX в. Ценность товаров, вывезенных за-границу, достигла 75 мил. руб., а ценность ввоза 52 мил. рублей. Рост фабрично-заводской промышленности стоит вне всяких сомнений. В конце царствования Петра I в России было 233 фабрики; в 1762 году их количество поднялось до 984; а перед началом XIX века (1796 г.) общее число фабрик дошло до 3161.

Помимо этих фактов следует еще отметить, что в крепостных хозяйствах начинает падать барщина, и натуральные повинности постепенно вытесняются денежным оброком.

В связи с этим начинается усиленный отход крестьянства на заработки. Этот отход особенное развитие получает в первой половине XIX века, когда половина и порой даже три четверти крепостных отправлялись в отхожие промыслы, втягиваясь, таким образом, в торговый оборот. Из среды же рядового крестьянства начинают выдвигаться первые капиталисты. Своими способностями и предприимчивостью они составили себе торговою и промышленною деятельностью большие состояния и выкупились на волю.

При всем этом нужно отметить, что в первой половине XIX века денежное хозяйство захватывает не более половины всего населения, и домашнее производство для многих местностей страны является почти единственным источником удовлетворения потребностей народа. Россия остается по преимуществу земледельческой страной. Земледелие— главное занятие населения, а полевое хозяйство, при первобытной системе обработки полей,—главная основа экономической жизни страны. При этом подневольный труд практикуется в самых широких размерах, и дворянство не может без него обходиться.

Дворянство, как земледельческо-феодальный класс, остается самой сильной общественной группой. Но его сила покоится не только на владении крепостными душами, но и на сомодержавии царя, которое, в свою очередь, находит себе самый сильный оплот в крепостниках.

Таким образом, самодержавие и крепостничество были тесно связаны одно с другим и друг без друга обходиться не могли.

При таких условиях только что народившееся денежное хозяйство не могло еще оказать решающего влияния на социальные отношения и политический строй России. Но под влиянием развившегося капитализма началось явное разрушение старого порядка,—разложение крепостного права и самодержавия. Закон Павла о трехдневной барщине, закон Александра I-го о вольных хлебопашцах, проэкты государственных преобразований и т. д.—были ответом на назревшие новые потребности в общественной и политической жизни.

Однако, в России первой четверти XIX века крепостное право и самодержавие царя все еще продолжали оставаться фундаментом, на котором держалась социальная и политическая жизнь страны. И все попытки не только уничтожить, но и ограничить царскую власть и власть помещиков кончались полным крахом, так как это не отвечало хозяйственным потребностям и интересам господствующего экономического класса—дворянства.

К числу таких неудачных попыток, шедших в разрез с интересами дворянской массы, следует отнести и вооруженное восстание 14 декабря 1825 г.

Попытка декабристов ограничить самодержавие и уничтожить крепостное право является характерным признаком начавшегося разложения старого социального и политического строя на почве вторгнувшегося в экономическую жизнь страны денежного хозяйства. Новая сила властно потребовала установления новых свободных форм жизни: политической свободы, уничтожения крепостного права и т. д. Декабристы строили социальные и политические планы на основе свободных отношений, т. е. на том необходимом условии, которое требуется для развития и полного торжества капитализма. Но замыслы декабристов потерпели крушение, так как они не встретили поддержки в господствующем классе. А к народным низам они не решились обращаться за помощью

К. Левин.

П. Я. Чаадаеву *).

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И свергнет иго самовластья!

А. С. Пушкин.

---

*) П. Я. Чаадаев—один из передовых русских людей первой четверти XIX в., близко связанный с декабристами.

Дворянство и крепостные в России накануне декабризма.

Четырнадцатого декабря 1825 года в Петербурге произошло событие, глубоко поразившее современников и заслуживающее полного внимания потомства.

Я говорю о вооруженном восстании на одной из петербургских площадей.

Сочувственное воспоминание о нем заставляет усиленно биться сердца всех тех русских,—а, может быть, и не одних только русских,—людей, которые неравнодушны к учреждениям, превращающим *обывателей* в *граждан*, то есть обеспечивающим стране блага *политической свободы**).

А. Герцен говорит, что в царствование Александра I „дворянство составляло так сказать активный народ, под которым внизу был народ, остававшийся неподвижным, и над которым вверху стояло правительство, отказывавшееся идти вперед“.

Народ, т. е. собственно крестьянство и немногочисленные тогда фабричные рабочие—не был совершенно неподвижен и в то время. Он глухо волновался и его неудовольствие то здесь, то там прорывалось в виде так называемых у нас *бунтов*, но все-таки движение, которое мы имеем теперь в виду, происходило исключительно в *дворянской* среде. Когда Рылееву пришла мысль вербовать в члены Союза Благоденствия *купцов*, мысль эта была отвергнута его товарищами, потому что, как выразился член Союза барон Штейнгель, наши купцы—*невежды*.

Но какова же была тогда дворянская среда? Каково было социальное положение дворянства?

---

*) Писалось в 1900 году, т. е. задолго до октябрьской революции.

2*

Дворянство было высшим, *привилегированным* сословием. Оно *эксплуатировало* крестьян. По экономической неразвитости тогдашней России, эксплуатация крестьян дворянством совершалась в самой грубой форме—*в форме крепостной зависимости.* Крепостное право определяло собою все отношения помещиков к крестьянам и налагало свою печать на весь социально-политической строй России. В своей непрестанной, хотя почти всегда скрытой, борьбе с помещиками, крестьяне, неуверенные в своих собственных силах, *идеализировали царя,* воображая его народным заступником. Они готовы были истреблять дворян по первому знаку высшего правительства. Уже одного этого обстоятельства было достаточно, чтобы лишить дворян всякой независимости по отношению к царской власти. А к этому присоединялось еще недоверчивое и даже прямо враждебное отношение *низшего бедного* дворянства к *высшему богатому.* Известно, что это отношение в значительной степени способствовало торжеству императрицы Анны Ивановны над „Верховниками", пытавшимися ограничить ее власть.

В виду всего этого, „доблестному российскому дворянству" поневоле приходилось мириться со злом самодержавия и уверять в свей преданности тех самых царей, против которых оно „крамольничало" так часто и иногда так удачно. Русский дворянин, державший себя как „важный барин" со своими подчиненными, держал себя как лакей в своих сношениях с верховной властью. Вот как характеризует, например, настроение высшего московского общества умная и наблюдательная англичанка мисс Катрин Уильмот, гостившая у княгини Е. Р. Дашковой в 1805—1807 годах: „Подчинение в высшей степени господствует в Москве. Здесь собственно нет того, что называют *джентльмэном;* каждый измеряет свое достоинство мерой царской милости. Поэтому старые идиоты и выжившие из ума женщины всемогущи... имея на себе более лент и чинов, чем люди молодые." И та же мисс Уильмот довольно ясно видела тесную связь между подмеченным ею духом *„подчинения"* и *крепостным правом.* „Я смотрю на каждого русского плантатора,—говорит она,—как на железное звено в огромной

цепи, оковывающей это царство; и когда я встречаюсь с ними в обществе, я невольно думаю, что сами они крепостные люди деспота“.

Письма мисс Уильмот относятся, как я сказал, к 1805—1807 годам, т. е. к началу царствования Александра I. Но дух, господствовавший в дворянской среде, не изменился, конечно, и к концу этого царствования. „То, что называлось высшим образованным обществом,—говорит декабрист И. Д. Якушкин,—большею частью состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого нибудь из вопросов, занимавших нас, показалось бы ужасным преступлением. О помещиках, живущих в своих имениях, и говорить уже нечего“. Огромное большинство дворянства и думать не хотело об уничтожении крепостного права.

„Все почти помещики—продолжает И. Д. Якушкин,—смотрели на крестьян своих, как на собственность, вполне им принадлежащую, и на крепостное состояние, как на священную старину, до которой нельзя было коснуться без потрясения самой основы государства. По их мнению, Россия держалась одним только благородным сословием, а с уничтожением крепостного состояния учитожалось и самое дворянство“. Вы легко можете представить себе, каковы были, каковы должны были быть социальные и психологические последствия такого положения дел. Тот же И. Д. Якушкин справедливо замечает, что крепостное право на каждом шагу обозначалось у нас самыми отвратительными последствиями. „Беспрестанно доходили до меня,—говорит он,—слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей. Ближайший из них, Жиганов, имевший всего 60 душ, раз‘езжал в коляске и имел огромную стаю гончих и борзых собак; зато крестьяне его умирали почти с голоду и часто, ушедши тайком с полевой работы, приходили ко мне и моим крестьянам просить милостыню“... „В то же время почти беспрестанно доходили слухи об экзекуциях в разных губерниях“. Выведенные из терпения, крестьяне отказывались повиноваться, и тогда к ним посылали военную силу, чинившую над ними жестокую расправу. Розги и палки, а в крайних случаях штыки и пули были необходимым

плодом и неизбежным воспитательным средством „патриархального“ крепостного режима. Жестокость становилась достоинством в глазах тех, которые держались лишь с помощью жестокости.

Все это показывает, что огромнейшее большинство дворян того времени было *„активным“* разве лишь *во вред народу*. От этого большинства нельзя было ждать бескорыстных гражданских подвигов. И мы вряд-ли ошибемся, отнеся к нему слова К. Ф. Рылеева (в его „Стансах“):

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные,
Иль бессмысленных детей...

Но к чести нашей страны, в этой среде, мертвой для всякой живой мысли и для всякого благородного порыва, стали появляться, под влиянием освободительного движения (западно-европейского) люди, понимавшие весь ужас тогдашнего положения России и готовые всеми силами служить делу освобождения русского народа. Такие люди встречаются у нас уже в восемнадцатом столетии. Это были идеологи, которые (выражаясь словами коммунистического манифеста) возвысились до теоретического понимания хода исторического движения. Они ненавидели крепостное право и стремились к гражданской свободе. При этом они очень ясно сознавали, что гражданская свобода невозможна там, где не существует границ царскому произволу...

На этой почве возникло движение декабристов.

Г. В. Плеханов.



Кондратий Федорович РЫЛЕЕВ.

Гражданин.

Я-ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в об‘ятьях сладострастья,
В позорной праздности, влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенья века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Они раскаются, кагда народ, восстав,
Застанет их в об‘ятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги *).

К. Ф. Рылеев.

---

*) *Брут*—римлянин, убивший Юлия Цезаря.—*Риэга*—вождь испанских революционеров, казненный в 20-х г.г. пр. стол.

Политические идеалы декабристов.

„Конституция“, т.-е. ограничение власти царя собранием „народных“ представителей, вместе с отменой крепостного права, были теми требованиями, которые об'единяли огромное большинство декабристов. Конституция, о которой они мечтали, была *цензовая,* т.-е. народных представителей должны были посылать не все, а только имущие классы. При этом помещики должны были получить голосов в 500 раз больше, чем крестьяне некрепостные (от государственных крестьян полагался один выборщик на 500 душ), крепостные же крестьяне совсем не получали избирательных прав, они должны были довольствоваться „гражданской свободой“, т.-е. освобождением от крепостного состояния. Это освобождение рисовалось декабристам приблизительно в той форме, в которой оно осуществилось в 1861 году, с отобранием у крестьян части их земли в пользу помещика, при чем реформа Александра II оказалась даже к крестьянам щедрее, чем декабристы: те желали отобрать у крестьянина больше земли. На этом сходились те участники заговора, которые жили в Петербурге, принадлежали большею частью к зажиточным помещикам, служили в гвардии и не отличались особенной революционностью. Первое тайное общество, „Союз Спасения“, они заставили распустить, и основали „Союз Благоденствия“, существовавший почти открыто и не терявший надежды добиться реформы от Александра I мирным путем. Вспоминали, что ведь тот сам когда-то мечтал о конституции и высказывался против крепостного права. У Александра на письменном столе лежал устав „Союза Благоденствия“, но он не принимал никаких мер против него: он порядочно-таки презирал этих говорунов и желавших политической свободы и не решавшихся на революцию.

Но на юге, в так называемой „действующей армии“ подобрался небольшой кружок людей, гораздо решительнее петербуржцев. К ним принадлежало отчасти небогатое офицерство, составившее особое общество „Соединенных Славян“. Отчасти это были наиболее образованные и энергичные участники тайного общества, в роде Сергея Муравьева-Апостола, единственного, который не ограничивался пропагандой среди интеллигенции, а пытался распространять революционные идеи среди своих солдат (он командовал полком). Для солдат он составил особый „православный катехизис“, где об‘яснялось, что бог вовсе не приказывал беспрекословно повиноваться всякому насильнику, как учили попы в церквах: „Христос сказал: не можете богу работать и мамоне; оттого-то русский народ и русское воинство страдают, что покоряются царям“. „Какое правление сходно с законом божиим? Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей. Стало-быть, бог не любит царей? Нет. Они прокляты суть от него, яко притеснители народа, а бог есть человеколюбец“. В подтверждение приводится выдержка из Ветхого завета, где, действительно, говорится, что тех, кто избрал себе царя, бог не станет слушать. „Стало-быть, и присяга царям богопротивна? Да, богопротивна. Цари предписывают принужденные (вынужденные) присяги народу для губления его“.

Совершенно очевидно, что Муравьев-Апостол готовил своих солдат к восстанию не во имя конституции, а во имя *республики:* южные заговорщики были республиканцы. Таков был и их вождь, самый замечательный человек заговора, полковник Пестель. Он понимал (отчасти он мог это прямо видеть на примере Польши), что конституция, пока на ее стороне не стоит вся народная масса, будет только ширмой, за которою будет прятаться то же самодержавие, и что народная масса — крепостные крестьяне, не соблазнится тою полусвободой, полуограблением, какое ей сулили проекты большинства декабристов. Не желая раздражать последних, Пестель, на словах, соглашался на вознаграждение помещикам за отмену крепостного права:

но зато *всю землю* в своем проекте, названном им „Русской Правдой“, он *отдавал народу*. Этим он надеялся привлечь на сторону новых порядков всех, кто был заинтересован в земле, то-есть, всех крестьян и солдат, которые были из крестьян же. В то же время Пестель прекрасно понимал, что без самого решительного революционного боя и без террора сломить самодержавие не удастся: он готовил все к огромному вооруженному восстанию (он надеялся иметь на своей стороне целый корпус, т.-е. 40 тысяч солдат), которое должно было кончиться истреблением всех „Романовых“. Тогда, думал Пестель, дело будет уже прочно, и временное революционное правительство в несколько лет преобразует всю Россию.

Пестель добился того, что соглашательский „Союз Благоденствия“ был заменен настоящим тайным революционным обществом. Было условлено, что восстание начнется летом 1826 г., во время маневров на юге. Сигналом должно было служить убийство Александра I. Потом восставшая армия должна была двинуться на Москву и Петербург, принудить высшие учреждения империи—светское и церковное — сенат и синод, признать временное революционное правительство, которое и должно было затем приступить к ликвидации старого строя.

М. Н. Покровский.

Были ли декабристы революционерами?*)

100 лет тому назад, при господстве крепостного права в России, не могло быть революционеров, стоящих на пролетарской точке зрения, и мы не можем ставить в вину декабристам, что они не были коммунистами, большевиками. Они были только буржуазными революционерами, и другими быть не могли.

В ту эпоху в порядке исторического дня стояла замена крепостнического строя строем буржуазным, который в свою очередь создал почву для подготовки строя социалистического. Декабристы боролись за новый, более прогрессивный экономический и политический строй, и боролись как революционеры, путем вооруженного восстания.

В проекте манифеста, который должен был быть опубликован на случай успеха восстания, выставлены такие требования: уничтожение старого порядка, установление временного правительства до установления постоянного выборными (т.-е. учредительным собранием), свобода печати, свобода совести, уничтожение крепостного права, равенство всех перед законом, уничтожение рекрутства, гласный суд с присяжными заседателями.

Программа очень не плохая для своего времени: припомним, что только через 35 лет начала осуществляться небольшая часть этой программы. Другую часть (учредительное собрание и свободы) вписала в свою программу—минимум через 75 лет—и наша пролетарская партия и попыталась осуществить ее во время революции 1905 года. И только победоносная пролетарская революция 1917 г. фактически пошла дальше их программы.

Конечно, мы знаем, что освободить крестьян они хотели с небольшим количеством земли (2 десятины на двор,

---

*) Автор этой статьи, т. Мицкевич, является одним из старейших членов Р. К. П. (б.).

по проекту Никиты Муравьева) за выкуп, что в проекте конституции того-же Никиты Муравьева имелся имущественный ценз для избирателей. Все это понятно, на то они и были буржуазными революционерами из помещичьего класса.

Следует, впрочем, отметить, что среди декабристов было правое и левое крыло. В Петербурге были в большинстве сторонники правого направления (Никита Муравьев, Трубецкой и др.). На юге, в южной армии, большинство принадлежало к сторонникам левого крыла (Пестель, С. И. Муравьев-Апостол и др.). Программа левого крыла была значительно более радикальной. Южные заговорщики подготовляли уже давно вооруженное восстание, предполагали захватить и уничтожить всю царскую фамилию, установить республику и ввести национализацию земли. Это уже программа революционно-демократическая.

Южные заговорщики вели пропаганду и среди солдат, С. И. Муравьев-Апостол начал вести эту пропаганду еще когда он служил в Петербурге в Семеновском гвардейском полку. Молодые семеновские офицеры, побывавшие с своим полком во время войны во Франции, были настроены революционно, на своих собраниях они распевали песню:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй отныне над нами,
Ах, лучше смерть, чем жить рабами,
Вот клятва каждого из нас.

Это было время, когда Пушкин, примыкавший тоже к декабристам, писал в своей оде „Вольность“:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей,
С жестокой радостью я вижу.

В своем полку молодые офицеры отменили телесные наказания, учили своих солдат грамоте и в конец их „рас-

пустили". Чтобы бороться с этой „распущенностью", был назначен новый командир полка — держиморда, генерал Шварц. Солдаты взбунтовались, полк был расформирован и солдаты были разосланы по полкам южной армии. После этого, по казармам других полков были разбросаны прокламации, которые историками приписываются С. И. Муравьеву-Апостолу. В одной из этих прокламаций находим слова: „хлебопашцы угнетены податями. Многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? А вы, будучи в такой силе, смотрите хладнокровно на подлого правителя и не спросите его, для какой выгоды дает волю дворянам торговать подобными нам людьми, разорять их и вас содержать в таком худом положении".

Муравьев и другие семеновские офицеры тоже были после волнений в полку высланы в южную армию. Тут они продолжали свою пропаганду среди солдат. В январе 1826 г., уже после подавления восстания декабристов в Петербурге, Муравьев поднял восстание на юге, став во главе своего полка. Перед восстанием он заставил полкового священника читать с амвона написанный им катехизис. В этом катехизисе говорится, что цари прокляты богом, как притеснители народа, что закон божий признает такое правление правильным, где нет царей, где все равны, и бог повелевает всем взять в руки оружие и ополчиться против тиранства.

Восстание декабристов было разбито, между прочим и потому, что не все из них так просвещали солдат, как Муравьев-Апостол, другие боялись, напротив, народного восстания и не подготовляли его, опасаясь, что оно не ограничится уничтожением или ограничением царской власти, но пойдет дальше, и тогда не поздоровится и помещикам-дворянам. Но на то и были они, повторяю, буржуазными революционерами и не могли быть другими в своей массе.

Но восстание декабристов, хотя и подавленное, сыграло свою революционную роль. Пять пленных революционеров было повешено, 132 было сослано на каторгу, срочную и бессрочную.

Память о казненных, память о томящихся в каторге революционизировала умы, напоминала о заветах декабристов. Пушкин посылал им на каторгу свои приветы в стихах. Одоевский из каторги ответил ему своими чудными стихами.

Герцен писал, что „пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение", и он, действительно, будил не одно поколение. Герцен взял эпиграфом к своему „Колоколу" слова из стихотворения Одоевского— „От искры возгорится пламя". Эти же слова были взяты эпиграфом в „Искре"—в нашей первой большевистской газете.

Революционная искра, брошенная декабристами, не заглохла. Она возгорелась в огромное революционное пламя, которое уничтожило и тот класс, из которого вышли первые русские революционеры сто лет назад. И мы можем сказать почти словами Плеханова, сказанными им в день 75-летия декабрьского восстания: прошло 100 лет, много других жертв было принесено делу освобождения народа, но имена Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина останутся в нашей памяти, как имена первых из наших, увы, многочисленных мучеников, заплативших жизнью за свои революционные стремления.

С. Мицкевич.

Декабристам.

Над вашей памятью кровавой
Теперь лежит молвы позор;
Над ней поэт, венчанный славой,
Остановить не смеет взор.
Ваш враг могучий торжествует,
Щадит его судьбы закон,
Лишь власти страсть его волнует—
И кажется незыблим трон.
Но вы погибли не напрасно:
Все, что посеяли—взойдет;
Чего желали вы так страстно,—
Все, все исполнится, придет.
Иной восстанет грозный мститель,
Иной восстанет мощный род:
Страны своей освободитель,
Проснется дремлющий народ.
В победный день, в день славной тризны
Свершится роковая месть—
И снова пред лицом отчизны
Заблещет ярко ваша честь!...

Из „Собрания стихотворений декабристов“. Лейпциг 1862.

Отдел II.

Россия после войны 1812 года.

Два „лика“ императора Александра I.

После непродолжительного и несчастного царствования Павла, восшествие Александра I на российский престол было встречено искренными приветствиями. Никогда еще не ожидали у нас столь многого от преемника власти; торопились забыть сумасбродное царствование. Все надежды возлагались на воспитанника Лагарпа и Муравьева *).

В начале своего царствования Александр, как будто, был одушевлен великодушными намерениями: положить конец ужасам и бессмысленным притеснениям предшествовавшего царствования и заставить забыть вопиющие несправедливости его отца.

В январе 1813 года Александр писал князю Адаму Чарторижскому: „Что же касается форм правления, то вы знаете, что я всегда отдавал предпочтение формам либеральным“.

В своем варшавском воззвании к немцам, в феврале 1813 года, Александр заявлял: „Если по остатку малодушия они (государи) упорствуют в своей пагубной системе покорности, то должен раздаться глас народа, чтобы властители, ввергающие своих подданных в позор и несчастие, были увлечены ими к мести и славе“. На открытии сейма в Варшаве, 27 марта 1818 года, он сказал народным представителям Польши: „Организация, существовавшая в вашем крае, дозволила мне установить немедленно тот порядок, который я вам даровал, и осуществить на практике принципы либеральных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений; спасительное действие их я надеюсь при помощи божией распространить на все страны, провидением попечению моему вверенные“. Эти слова были восприняты с жадностью. Но позднее, занятый всецело Европой,

*) Либеральные воспитатели Александра I.

бросаясь от одного конгреса к другому, находясь вполне под влиянием Меттерниха, он отрекся от своих великодушных намерений. Польша получила конституцию, Россия же, в награду за героические усилия 1812 года, получила военные поселения.

Он освободил крестьян Прибалтийских губерний и по этому поводу сказал представителям лифляндского дворянства следующие достопамятные слова: „Вы почувствовали, что только на началах свободы может быть основано благополучие народов“. А когда русские крепостные искали у него защиты от притеснений помещиков, ответом им была военная расправа. Охваченный мистицизмом, постоянно рассуждавший о религии, он совершенно лишил имущества и свободы тех своих подданных, из которых образовал военные поселения. Ужасные сцены произошли в Чугуеве, где всбунтовавшиеся поселяне бесстрашно решились выдержать мучительные наказания и проклинали тех, кто выказывал слабость при виде пыток. По восьмидесяти человек зараз погибали от жестоких наказаний палками; дивизии пехоты были приведены для исполнения обязанностей палачей.

Забыв все свои обязанности перед Россией, Александр к концу своего царствования предоставил все дело управления страною известному Аракчееву. Этот фаворит, враждебный всему прогрессивному, выбирал подчиненных, достойных его. Строгости цензуры дошли до абсурда; всеми способами препятствовали ввозу книг из-за границы. Профессора наших университетов были преданы во власть инквизиторов. Совершались неслыханные несправедливости. По простому доносу низкого шпиона заключали в крепость или ссылали в отдаленные гарнизоны, даже в Сибирь. Полковник Бок, долго переписывавшийся с Александром, за то, что напомнил в одном письме государю, что он отрекся от своих прежних намерений, был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где умер сумасшедшим. Молесон и Кир, двое ребят, за мнимое неповиновение в Виленском университете, годами томились в Сибири. Юный Платер за школьническую шалость в Виленском университете, был сдан в солдаты вместе с несколькими своими товарищами. Мать его умоляла императора

о помиловании и, чтобы разжалобить его, сказала, что сыну ее нет еще 14 лет. „Сударыня (ответил император), он может быть флейтщиком“. Были арестованы офицеры старого Семеновского полка: полковник Иван Вадковский, полковник Дмитрий Ермолаев, подполковник Николай Кашкаров, подполковник князь Лев Щербатов—и содержались в секретной тюрьме в Витебске, с 1821 до 1826 года. Все четверо были невиновны, виноваты были начальник бригады великий князь Михаил и полковник Шварц, вызвавший (в 1820 г.) солдат на открытое возмущение своим жестоким обращением с ними.

Бессилие законов, которые не были собраны и которых не могли знать, испорченность и продажность чиновников— вот печальное зрелище, которое представляла Россия того времени.

В последние годы своей жизни Александр находился во власти какой-то безотчетной грусти. И вот, чтобы отправиться в Таганрог, он приказал проложить новую дорогу, не дешево стоившую стране, но давшую ему возможность миновать города.

Так закончилось царствование, которое иные считали предназначенным составить счастье России.

Декабрист *А. М. Муравьев.*

Эпиграммы на Александра I.

I.

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицом он бежал,
В двенадцатом году—дрожал.
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел,—
Теперь коллежский он ассесор
По части иностранных дел.

II.

(К бюсту Александра I).

Напрасно видят тут ошибку:
Рука искусства навела —
На мрамор этих уст улыбку
И гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен,—
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни — арлекин.

III.

Всю жизнь провел в дороге
И умер в Таганроге...

А. С. Пушкин.

Общественные настроения в России после войны 1812 года.

Дух свободы, который во всех европейских государствах действующие за одно правительства старались всячески угнести, — повеял и на самодержавную Россию. Молодое ее поколение, которое вступило на гражданское поприще в первые десять лет царствования Александра, воспитанное под влиянием свободолюбивых начал, им провозглашаемых, вполне сознавало, как далеко Россия отстала от Европы в истинной цивилизации. Но, любя и уважая Александра, она спокойно ожидала от него благодетельного преобразования, готовясь усердно ему содействовать...

В таком настроении духа, с чувством своего достоинства и возвышенной любви к отечеству, большая часть офицеров гвардии и генерального штаба возвратилась в 1815 г. в Петербург. В походах по Германии и Франции наши молодые люди ознакомились с европейскою цивилизацией, которая произвела на них тем сильнейшее впечатление, что они могли сравнивать все виденное ими за границею с тем, что им на всяком шагу представлялось на родине. Рабство огромного бесправного большинства русских, жестокое обращение начальников с подчиненными, всякого рода злоупотребления власти, повсюду царствующий произвол — все это возмущало и приводило в негодование образованных русских... Многие из них познакомились в походе с германскими офицерами, членами прусского тайного союза который подготовил восстание в Пруссии и содействовал ее освобождению, — и с французскими либералами. В откровенных беседах с ними молодые русские офицеры усвоили их свободный образ мыслей и стремление к конституционным учреждениям, стыдясь за Россию, так глубоко униженную самодержавием.

Возвратясь в Россию, могли ли наши либералы удовлетвориться пошлою полковою жизнью и скучными мелочными занятиями и подробностями строевой службы, которых от них требовали строгие начальники, угождая тем врожденной склонности Александра I и его братьев к фрунту, солдатской вытяжке, одиночному ученью и проч?...

Пока легкомысленные русские патриоты могли еще ожидать от самого Александра благодетельных преобразований, которые ограничив его самовластие, сколько-нибудь улучшили бы положение народа,—они готовы были усердно содействовать его благим намерениям. Но когда они убедились в совершенном изменении его прежнего свободолюбивого образа мыслей после войны 12-го года, когда узнали о политических действиях его на конгрессах: венском, ахенском, лайбахском, веронском, на которых Александр, со своими союзниками, обнаружил неприязненное чувство к свободе народов, то самые восторженные почитатели его в блистательную эпоху занятия Парижа—теперь совершенно охладели к нему.

Декабрист *М. А. Фонвизин.*

Фрунтовая лямка.

(Отрывок из поэмы „Дедушка").

Дедушка *) кстати солдата
Встретил, вином угостил.
Поцеловавши, как брата,
Ласково с ним говорил:
 Нынче вам служба—не бремя.
 Кротко начальство теперь.
 Ну, а как в наше-то время—
 Что ни начальник, то—зверь!
 Душу вколачивать в пятки
 Правилом было тогда.

---

*) „Дедушка"—один из декабристов, возвращенных из ссылки в 1856 году.



Никита Михайлович МУРАВЬЕВ.

Как ни трудись,—недостатки
Сыщет начальник всегда:
„Есть в маршировке старанье.
Стойка исправна совсем.
Только заметно дыханье“...
Слышишь ли? дышат зачем?
А недоволен парадом—
Ругань польётся рекой.
Зубы посыплются градом,
Порет, гоняет сквозь строй!
С пеною у рта обрыщет
Весь перепуганный полк.
Жертв покрупнее приищет
Остервенившийся волк:
„Франтики! подлые души!
Под караулом сгною!“...
    Слушал, имеющий уши.
    Думушку думал свою...
Брань пострашней караула,
Пуль и картечи страшней.
Кто же, в ком честь не уснула—
Кто примирился бы с ней?..

Н. А. Некрасов.

Русский солдат после войны 1812 г.

„Освободительные“ войны России с Наполеоном в начале XIX века имели огромное значение не только для распространения революционных идей среди офицеров — представителей привилегированных классов русского общества, но и для распространения сознательности и чувства собственного достоинства среди солдат—представителей многомиллионной забитой народной массы. Пребывание в 1813—1814 годах во Франции, где самый воздух еще был насыщен свободолюбивыми идеями,— раскрыло русским воинам глаза на их тяжелое положение в России; приветливые встречи, устраиваемые нашим войскам в Германии жителями освобожденных от чужеземного ига немецких провинций,—еще резче оттеняли варварское обращение с нашими солдатами на родине; непривычно-человечное обращение начальников, вынужденных сдерживать во время заграничных походов свою природную грубость, особенно ярко выявило перед солдатами несправедливость того рабского состояния, в которое они вернулись, перейдя обратно западную границу России.

Понятно, что все это шевелило мысли солдат, вызывало в них критическое отношение к порядкам отечественного управления и возбуждало стремление к улучшению своего положения. Но особенно значительным было влияние передового офицерства на развитие в солдатах чувства собственного достоинства. Просветительная деятельность либеральных офицеров, их человечное отношение к подчиненным укрепляли в солдатах начала сознательности и были лучшим средством пропаганды для развития свободолюбивых стремлений в солдатской массе.

Так, генерал М. Ф. Орлов окружил себя группой радикально-настроенных помощников, усердно проводивших в жизнь его программу, устроил в командуемых им частях школы грамоты с весьма обширной программой, решительно

запретил применять к провинившимся солдатами телесное наказание и строго преследовал офицеров, нарушавших этот запрет. Генерал М. А. Фонвизин *) совершенно искоренил в своих полках телесные наказания и тратил на улучшение материального положения солдат большие суммы из собственных средств. Офицеры Семеновского полка: братья М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин, П. Я. Чаадаев, кн. И. Д. Щербатов, С. Н. Тютчев, кн. Ф. П. Шаховской, полк. Ермолаев, М. П. Бестужев-Рюмин и др. быстро отменяли в своих батальонах и ротах телесные наказания и — беседами, уроками грамоты — содействовали просвещению солдат, развитию в них самосознания и самоуважения.

Солдаты ценили эти заботы офицеров, любили их за человечное отношение и скоро усваивали идеи свободы, равенства и братства, проповедуемые этими лучшими представителями тогдашнего передового общества.

Но только самая незначительная часть командующего класса исповедывала освободительные идеи. Если в первую половину царствования Александра Павловича, заявлявшего в своем желании дать России конституцию и возбудить в русских дух оппозиции, многие представители командующего класса хоть на словах прикидывались сторонниками права и справедливости,— то после Отечественной войны, когда Александр совсем перешел на сторону реакции, а проводником его политики, его государственных идеалов сделался Аракчеев,— русские крепостники совсем разнуздались. Вот что писал об этом времени Д. П. Рунич, сам ханжа, лицемер и душитель свободной мысли: „Одна система администрации сменялась другою. Сегодня были философами, завтра ханжами... Все зависело от двигателя, пускавшего в ход машину. Во время Кочубея и Сперанского все были приверженцами конституции, во время фавора князя (А. Н.) Голицына все были ханжами, во время Аракчеева все были льстивы“. И на солдатской спине больно отзывался этот поворот в настроении правящих кругов. Даже в лучшем расположении духа, в минуты веселости, самые младшие

*) Один из декабристов.

из офицеров обращались со своими подчиненными хуже, чем плохой хозяин обращается с негоднейшей из своих собак.

Вот характерный в этом отношении рассказ знаменитого актера М. С. Щепкина, который сам происходил из крепостных. Однажды находился он в обществе нескольких офицеров, один из которых предлагал другому пари на 500 р. в том, что солдат его роты выдержит тысячу палок и не упадет.

— Это меня чрезвычайно поразило, — рассказывает М. С. Щепкин,— тем более, что мы знали хозяина как благородного человека...

Послали за солдатом.

— Степанов,— сказал ему офицер,— синенькую и штоф водки,— выдержишь тысячу палок?

— Рады стараться, ваше благородие,— отвечал солдат.

Щепкин обезумел.

— Как же ты, братец, на это согласился? — спросил он у солдата.

— Все равно даром дадут,— отвечал тот.

Щепкин сообщил о готовящейся варварской потехе полковому командиру, у которого сидели гости. Сообщение это было встречено хохотом, и гости с улыбкой повторяли по адресу затеявших пари: „ах, какие милые шалуны“, „вот каков русский солдат“...

Даже в тогдашних военных журналах писали с довольно двусмысленным славословием по адресу царя: „Продли, милостивый боже, благословенно многие лета императору; его сердце остановило в войсках тиранство, и солдат не страшится уже службы, однако же поколачивают без содрогания... Еще и поныне водится в некоторых полках не жестокость, не тиранство, но что-то на сие похожее и едва ли сносное, а более за ученья“.

Муштровка войск, по словам одного официального историка этой эпохи, доводилась до поэтического восторга. Войска выводились на ученье задолго до назначенного часа. Измученные долгим ожиданием, изнемогая под тяжестью ранца и кивера, с колыхающимся от ветра почти аршинным сул-

таном, затянутые „до удавления“ туго застегнутым воротником и скрещенными на груди ремнями, солдаты с напряженным вниманием исполняли команды, требовавшие от них бодрости и быстрого исполнения.

— Смотри веселей!.. Больше игры в носках!.. Прибавь чувства в икры!..— кричали начальники.

Ученья зимою были еще сносны, но с наступлением весны они производились с 9 часов утра до 2-х пополудни, причем малейшая ошибка вызывала жестокую расправу.

Современники рассказывают в своих записках и воспоминаниях про многие случаи смерти солдат под ударами палок и розог. Многие офицеры, как передает граф Ланжерон, сам сторонник строгого обращения с солдатами и телесного наказания для них, находили в этих истязаниях особое удовольствие и велели наказывать солдат, виновных и невиновных, во время чаепития.

В царских приказах отмечалось даже, что необходимая иногда ради дисциплины строгость во многих случаях „не только не вместна, но вредна для службы и для самых успехов в доведении обучаемых до надлежащего познания“,— ибо „через частые безрассудные наказания лишается солдат здоровья и крепости, нужных ему для понесения трудов военных“, а „ежеминутное ожидание палочных ударов расстраивает внимание его“...

Солдаты сложили тогда сказку, изображающую гнет и ужас их жизни. Солдат в этой сказке продал свою душу чорту, чтобы последний выслужил за него срок; но скоро чорту от палок, розог и солдатской службы пришлось так жутко, что он бросил к ногам солдата амуницию и отказался от его души, чтобы только самому освободиться от службы.

С. Я. Штрайх.



Жизнь солдатская.

Ах, прекрасная весна,
Ты приятна и красна,
Если вольным кто родится.
А солдату ты, весна,
Очень, очень несносна!
Тут начнется в ней ученье
И тиранство и мученье.
О! солдатская спина,
Ты к несчастью рождена.
Лучше в свете не родиться,
Чем в солдатах находиться.
Этой жизни хуже нет,
Изойди весь белый свет.
В караул пойдешь, так горе,
С караула, так и вдвое.
В карауле нам мученье,
А как сменишься — ученье.
В карауле жмут подтяжки,
На ученьи жди растяжки,
Стой прямее, не тянись,
За тычками не гонись.
Оплеухи и пинки
Принимай, ты, как блинки.
Я отечеству защита,
А спина всегда избита.
Я отечеству ограда,
В тычках-пинках вся награда.
Кто солдата больше бьет,
И чины тот достает.
Тем старателен, хорош,
Хоть на чорта он похож.
А коль бить кто не умеет,
Тот ничто не разумеет.

(Из запрещенных солдатских песен 20-х годов пр. стол).

Временщику.

(Аракчееву).

...Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами, злодей!..
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь.
Твоим вниманием не дорожу, подлец!
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!...
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!
Под лицемерием ты мыслишь, может быть,
От взора общего причины зла укрыть?..
Не зная о своем ужасном положеньи,
Ты заблуждаешься в несчастном ослепленьи:
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь;
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он, что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты...
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен раз‘яренный!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,—
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой пригор произнесет потомство!

1820 г.

К. Ф. Рылеев.

Военные поселения.

Ничто столько не возбуждало негодования общественного мнения против Александра,— не одних только либералов, а целой России,— как насильственное учреждение военных поселений. Кто первый внушил императору эту несчастную мысль,— неизвестно. Всего вероятнее, что, желая первенствовать в Европе, он сам придумал ее для того, чтобы сколько возможно более умножить свои военныя силы с меньшими издержками для казны. По придуманному им плану военной колонизации,— волости целых уездов из государственных крестьян поступали в военное ведомство. Все обыватели этих волостей, в которые водворялись пехотные и конные полки, делались солдатами: их распределяли по ротам, баталионам и эскадронам, которые должны были составлять резервы своих полков. Насильственно подвергали несчастных поселян строгой военной дисциплине, обучали военному строю и они должны были отправлять военную службу и вместе с тем заниматься сельскими полевыми работами, под надзором военных начальников, для продовольствия своего и полков, в их волостях водворенных.

Из всех действий императора Александра после изменения его образа мыслей,—учреждение военных поселений было самое деспотическое и ненавистное. Введение этой тиранической меры в губерниях: Новгородской, Псковской, Смоленской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской, уничтожая благосостояние поступивших в военные поселяне государственных крестьян, встретило упорное сопротивление со стороны их: волости, даже целые уезды, обращаемые насильственно в военных поселян, возмутились. Противодействие их было подавляемо войсками, как бунт; военных поселян усмиряли картечью и ружейными выстрелами. Кровь лилась как в сражениях и, после усмирения, военные суды приговаривали многие тысячи несчастных

жертв к наказанию сквозь строй и к ссылке в Сибирь, в каторжную работу и на поселение. Некоторые военные начальники, из подлого желания выслужиться, позволяли себе жестокие истязания при розысках, для открытия виновников и главных зачинщиков возмущения.

Учреждение военных поселений, на которые издержаны были многие миллионы народных денег, было предметом всеобщего неодобрения. Даже лица, на которые Александр возложил проведение этой меры,—уверяли, что они действуют, будто бы, против собственных убеждений, только в угоду царю. Даже главный начальник военных поселений, генерал Аракчеев, ненавистный для целой России за свой злобный и свирепый нрав, но любимый Александром за свою рабскую преданность ему,—и Аракчеев говаривал, что военные поселения выдуманы не им и что он сам, не одобряя этой меры, проводит ее лишь как священную для него волю „государя и благодетеля"...

М. А. Фонвизин.

Эпиграммы на Аракчеева.

I.

Всей России притеснитель,
Поселян лихой мучитель, —
Он Совета [1]) вдохновитель,
А царю — и друг, и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести...
Кто ж он „преданный без лести“? — [2])
Просто — фрунтовый солдат!...

II.

Холоп венчанного солдата! [3])
Благослови свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата [4])
Иль смерти немца Коцебу!... [5])

А. С. Пушкин.

---

[1]) Государственный Совет, в то время высший правительственный орган, который должен был прислушиваться к мнениям всесильного Аракчеева.

[2]) Т. е. преданный без лести царю, — так называл себя сам Аракчеев.

[3]) Т. е. Александра I.

[4]) Геростат — сжег великолепный храм Дианы в Эфесе около 356 года до нашей эры, с целью прославиться.

[5]) Шпион русского правительства, убитый в 1819 году немецким студентом, Зандом.

Солдатский бунт 1820 г. в Семеновском полку.

Тяжела была жизнь гварейских солдат, среди начальства которых были братья царя. Из последних великие князья Николай и Михаил — едва оперившиеся юнцы, получившие исключительно казарменное образование, проникнутые только мыслью о муштровке и парадах,— были начальниками бригад гвардейской дивизии. Их обоих вполне заслуженно (что признавали, в осторожных выражениях, даже высшие войсковые начальники) ненавидели офицеры, а особенно солдаты.

О великом князе Михаиле Павловиче, командире бригады, в которую входил и Семеновский полк, тогдашний офицер этого полка М. И. Муравьев-Апостол, через полвека, писал: „Михаил Павлович, только что снявший с себя детскую куртку, был назначен начальником 1-й пешей гвардейской бригады. Узнав, что мы своих солдат не бьем, он всячески старался уловить Семеновский полк в какой нибудь неисправности своими ночными наездами по караулам в Галерный порт и неожиданными приездами по дежурствам. Все это ни к чему не послужило. Везде и всегда он находил полный порядок и строгое исполнение службы. Это еще больше бесило и восстановляло против ненавистного ему полка“.

Семеновский полк был ненавистен младшему сыну Павла I за то, что в этом полку установились несвойственные аракчеевщине нравы. „1812, 1813 и 1814 годы нас познакомили и сблизили с нашими солдатами,—пишет тот же свидетель.— Все мы были проникнуты долгом службы. Добропорядочность солдат зависела от порядочности поведения офицеров и соответствовала им. Каждый из нас чувствовал собственное достоинство, поэтому умел уважать его в других“. Семеновский полк был единственный, по сло-

вам одного из офицеров, между всеми гвардейскими полками, выведший телесные наказания из обихода солдатской жизни.

Близко наблюдавший тогда эту жизнь, в качестве директора полковых школ грамоты, журналист и писатель Н. И. Греч, в своих записках передает следующее. „Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа; они чувствовали и видели свое превосходство перед иностранными войсками, видели, что те войска, при меньшем образовании, пользуются большими льготами, большим уважением, имеют голос в обществе. Это не могло не возбудить вначале просто их соревнования и желания стать наравне с побежденными“.

Как увидим дальше, солдаты следили даже за ходом европейских политических событий...

Когда все попытки уловить Семеновский полк в неисправности по службе не удалось, к офицерам и солдатам стали „придираться, отыскивая во что бы то ни стало, правдой и неправдой, если не беспорядка, то каких-нибудь ошибок“.

Но, при всей своей молодости и неопытности, Михаил Павлович понимал, что сразу нельзя браться за ломку полка: Семеновский полк был любимым полком царя, который знал в лицо всех солдат и офицеров его, а также их отличное отношение к служебным обязанностям. Царский брат взялся за дело исподволь. Видя какое действие произвели на Александра европейские события (революционное движение на Западе), он „воспользовался тем, чтобы представить, ему, сколь вреден всем известный образ мыслей будто бы целого полка, что доказывается будто бы пренебрежением его к фронту. Для исправления его предложил он встреченного им во время путешествия по России чудесного фронтовика, который, беспрестанно содержа семеновцев в труде и поте выбьет из них дурь“. „К сожалению, говорит Вигель, государь согласился“ и в светлый праздник 1820 года назначил полковника Ф. Е. Шварца командиром Семеновского полка.

Шварц начальствовал Калужским гренадерским полком. Известно было, что он приказывал солдатам снимать сапоги, когда бывал недоволен маршировкой, и заставлял их голыми ногами проходить церемониальным маршем по скошен-

ной, засохшей пашне; кроме того наказывал солдат нещадно и прославился в армии „погостом своего имени", т. е. обширным кладбищем для солдат, замученных им до смерти во время фронтового ученья.

Шварц оправдал выбор Михаила Павловича и сразу принялся за выколачивание дури из голов семеновцев. Он „принялся за наш полк по своему соображению,— рассказывает М. И. Муравьев-Апостол.—Узнав, что в нем уничтожены телесные наказания, сначала он к ним не прибегал, как было впоследствии; но, недовольный учением, обращал одну шеренгу лицом к другой и заставлял солдат плевать в лицо друг другу, из всех 12 рот поочередно ежедневно требовал к себе по 10 человек и учил их, для своего развлечения, у себя в зале, разнообразя истязания: их заставляли неподвижно стоять по целым часам, ноги связывали в лубки, кололи вилками и пр."

Палка была всегда единственным красноречивейшим его аргументом. Не давая никакого отдыха, делал он всякий день учения и за малейшую ошибку осыпал офицеров обидными словами, рядовых—палочными ударами; все страдало нравственно и физически.

И вот при таком маниаке фронтовой службы, как Шварц, Семеновскому полку суждено было осуществлять фронтовые идеалы Аракчеева и Михаила Павловича.

Генерал М. И. Богданович пишет, что „полковник Шварц соединял в себе грубое невежество с необыкновенною вспыльчивостью и крутым характером. Он ничего не знал, кроме фронта: за то перед фронтом являлся в виде фанатика. На ученьях он выходил из себя, бранился, ревел диким голосом, бросал шляпу о земь, топтал ее ногами; нередко случалось ему ложиться на землю, чтобы лучше видеть, хорошо ли на марше солдаты вытягивают носки — игру носков.

„Не проходило в полку ни одного ученья без палок; не довольствуясь тем, Шварц бил солдат своеручно, дергал их за усы, заставлял их плевать в лицо один другому и томил беспрестанными ученьями, даже в воскресные дни и праздники... Заставлял нижних чинов изводить их

скудное жалованье на фабру для усов: те солдаты, кои не имели усов, должны были наклеивать фальшивые каким-то составом, от которого на лице делались болячки и чирьи“.

Солдаты умели уже рассуждать о своем человеческом достоинстве, понимали унизительность своего положения в рядах отечественной армии и не могли безропотно мириться с аракчеевщиной. Понятно, что негодование семеновцев вылилось в восстание.

Возмущение прорвалось 16 октября 1820 года. В этот день, согласно подлинным словам военно-судного дела, „во время ученья, когда не был еще сведен полк и роты учились отдельно, 2-я рота, кончив ружейные приемы, стояла вольно. Ротный командир, увидя приближающегося полковника скомандовал: „смирно“! При этом один из рядовых (Бойченко), исполнявший естественную надобность, стал во фронт не успев застегнуть мундир. Тогда Шварц, подбежав к нему, плюнул ему в глаза, потом взял его за руку и, проводя по фронту первой шеренги, приказывал рядовым на него, Бойченко, плевать. Сверх того, некоторых из нижних чинов, имеющих знаки отличия военного ордена, он наказал тесаками“.

Солдаты решили жаловаться начальству и уговаривались поддержать ту роту, которая первой заявит о необходимости облегчить им тяготы службы. Возвращаясь 16 октября с ученья в казармы, первая рота первого батальона, так. наз. рота его величества, решилась, наконец, заявить жалобу, для чего предполагалось воспользоваться вечерней перекличкой. Фельдфебель отменил перекличку, надеясь этим предотвратить нарушение дисциплины, но солдаты в конце 9-го часа вечера вышли в коридор и послали за своим ротным командиром, капитаном Н. И. Кошкаревым.

Явившись в роту, Кошкарев спросил солдат, почему они собрались самовольно. Солдаты стали его просить об отмене предстоявшего на другой день, в воскресенье, так назыв. десяточного смотра (по 10 человек от каждой роты, на квартире Шварца, где он особенно истязал их придирками и жестокостью во время ученья). Сначала кап. Кошкарев указывал солдатам на грозящее им наказание за всю

эту историю, но потом обещал довести просьбу солдат до сведения начальства. После этого солдаты, по требованию ротного командира, беспрекословно разошлись по своим отделениям.

Хотя на другой день фельдфебель и представил Кошкареву записку с именами 12 солдат, особенно шумевших вечером 16 октября, но капитан не передал ее начальству, как полагает В. И. Семевский (изучивший все дело о восстании Семеновского полка), умышленно, не желая подвергнуть особо суровой ответственности несколько человек за жалобу, которой все сочувствовали и которую он сам считал основательной. За эту доброту Кошкарев дорого поплатился.

Из роты капитан Кошкарев отправился к батальонному командиру, полковнику И. Ф. Вадковскому, и, не застав его дома, оставил записку о случившемся, а затем пошел с докладом к Шварцу. Командир полка, выслушав словесное донесение Кошкарева, ограничился только распоряжением: „наблюдать за порядком и ожидать утром дальнейших приказаний“.

Полк. Шварц к месту происшествия не явился, а когда Вадковский доложил ему о событиях, командир полка сказал, что известит обо всем высшее начальство. В тот же день на разводе он доложил о случившемся в первой роте ген. Бенкендорфу, который сейчас же довел об этом до сведения ген. И. В. Васильчикова *). Последний сказался больным и в полк не явился, а поручил Бенкендорфу произвести расследование. С Бенкендорфом отправился в Семеновский полк и бригадный командир вел. князь Михаил Павлович.

Прибыв в казармы, начальство велело выстроить солдат первой роты по взводам в разных коридорах, но солдаты стали выражать неудовольствие на это разделение, и пришлось свести их в одно место. Здесь солдаты повторили то же, что говорили ротному и батальонному командирам, заявили, что полк. Шварц их тиранит, требует много ненужной службы, нещадно бьет их. Бенкендорф прикрикнул на солдат и потребовал, чтобы они выдали зачинщиков.

*) Командир корпуса.

В это время полк. Вадковский доложил ему, что три остальные роты первого батальона также неспокойны, и можно опасаться, что они последуют примеру первой роты.

Бенкендорф и Михаил Павлович отправились к Васильчикову, перед которым начальник его штаба настаивал на отправлении первой роты в крепость, а командир бригады предлагал наказать каждого десятого из солдат розгами и распределить их между другими ротами. Вскоре Вадковского вызвали к великому князю Михаилу Павловичу, который спросил его, что делается в полку. Батальонный командир ответил, что в полку спокойно, и просил великого князя не возбуждать по поводу происшедшего официального дела, а ограничиться взысканием домашнего свойства. Михаил Павлович соглашался на это под условием выражения первой ротой раскаяния.

Уговоры полк. Вадковского в этом смысле не помогли, и он получил приказание привести роту в штаб корпуса, где ее намерен допросить ген. Васильчиков. Когда семеновцы, безоружные, прибыли в гвардейский манеж, там находились уже в полном снаряжении две роты Павловского полка, под конвоем которых Васильчиков велел отвести первую роту в Петропавловскую крепость, высказав мятежным солдатам порицание за их поведение. Плац-майор крепости Подушкин приказал отрядить к заключенным конвой, но семеновцы говорили, что они „готовы идти, куда прикажут, без всякого сопротивления“ и что они будут повиноваться даже, если к ним приставят одного только инвалида.

В полночь вернулся из отпуска рядовой второй роты Павлов, который сообщил своему товарищу Чистякову об аресте первой роты. Чистяков выбежал в коридор и закричал: „выходи на перекличку!“ Люди стали собираться, а Павлов кричал: „пет первой роты! она погибает!“ Явившемуся ротному командиру солдаты заявили, что первая рота погибает напрасно, так как они столько же виноваты, сколько и все солдаты, о чем и просят доложить начальству. Тем временем волнение началось и в первой фузелерной роте, которая также заявила своему командиру, что желает разделить участь первой роты.

Пока начальство принимало свои меры, солдаты двух возмутившихся рот соединились и бросились в помещение третьей роты, выломали там ворота, оттолкнули часовых и подняли на ноги всех солдат. По прибытии в третью роту батальонного командира, полковника Вадковского, все солдаты заявили ему, что они не могут быть спокойны без государевой роты, что к караулу они будут своевременно готовы, но не иначе, как с головой, т. е. с первой ротой так как без нее им „не к чему пристраиваться". Солдаты выражали удивление по поводу отсутствия их полкового командира, и Вадковский отправился за ним. Но Шварц, узнав о волнении в батальоне, скрылся из дому и, как оказалось после, всю ночь пробродил вокруг места расположения полка, не решаясь показаться разгневанным солдатам.

По уходе Вадковского, в третью роту прибыл ее командир, капитан С. И. Муравьев-Апостол, тогда уже член тайного общества, а впоследствии главный устроитель восстания на юге, казненный Николаем I 13 июля 1826 года. Муравьев-Апостол стал успокаивать свою роту, напоминая солдатам о грозящем им наказании и ссылаясь на то, что за 4-летнее командование ротой он мог заслужить любовь и доверие солдат, которые поэтому должны щадить его самого. Солдаты 3-й роты смущенно молчали, но люди из других рот кричали: „не расходись, третья рота! да что за третья рота, здесь нет третьей роты, здесь весь батальон! первая рота погибает, а третья рота пойдет спать и отстанет от своих братьев! мы не разбойничать хотим, а хотим все вместе просить по начальству!" Все толпой бросились в помещение других рот, чтобы и их увлечь за собою, но Муравьев-Апостол уговорил их успокоиться, и солдаты остались в помещении его роты, обсуждая в группах положение вещей.

Вскоре возвратились в казармы солдаты другой роты, державшие караул в городе. Собравшиеся в помещении третьей роты солдаты первого батальона, не узнав в темноте товарищей-однополчан, подумали, что те пришли арестовать их. Все с шумом бросились на полковой двор, крича: „караул идет, и заберут нас здесь; ежели хотят хватать, пусть вместе хватают, один конец". Полк. Вадковский снова отправился

к Бенкендорфу, который отослал его к корпусному командиру. На вопрос ген. Васильчикова, что делать, Вадковский посоветовал освободить первую роту, что сразу успокоит всех солдат. Но Васильчиков, посоветовавшись с Бенкендорфом, решил арестованных из крепости не выпускать.

Наконец, сам Васильчиков отправился среди ночи к военному генерал-губернатору столицы графу М. А. Милорадовичу, сподвижнику Суворова. Милорадович прибыл в Семеновский полк, но и его уговоры были безуспешны. Также безуспешно пытался, по соглашению с Васильчиковым, успокоить волнующихся солдат их бывший командир Я. А. Потемкин.

Тогда Васильчиков надумал лично поехать к полку. Отрешив от командования скрывшегося Шварца, он назначил вместо него популярного в гвардии ген. К. И. Бистрома. Последнему командир корпуса приказал, пока он сам будет беседовать с восставшими солдатами, занять Семеновские казармы Егерским полком, а ген. А. Ф. Орлову поручил приблизиться к Семеновскому плацу с конногвардейским полком.

Тем временем волнение в полку развивалось, как передает К. Ф. Рылеев, в следующем виде: „Солдаты прехладнокровно отрядили 130 человек убить Шварца, но его не нашли. Он, как будто желая оправдать всеобщее к себе презрение, спрятался в навоз. В доме ничего не тронули, кроме семеновского мундира, от которого оторвали воротник, говоря, что Шварц недостоин носить его. Мальчик, у него воспитанный, которого почитали его сыном, попался им; они бросили его в воду, но один унтер-офицер его вытащил, говоря, что он невинен:— вырастет, да в отца будет, тогда еще успеем сладить!

Никакого буйства и излишества не было, хотя некоторые и были пьяны. Хотели было освободить арестантов, но Преображенского полка офицер, который стоял в карауле, попросил их отойти и они не покушались более!“.

Уговаривали волновавшихся семеновцев все генералы вместе и каждый в отдельности—безуспешно. „Они всякому,— пишет Рылеев,—отвечали с почтением и покорностью, но

пребыли тверды в своем намерении. Потемкину сказали:— ваше превосходительство, не просите: мы вас любим, и нам больно будет не послушаться, но делать нечего: товарищи погибают!". Вел. Князь (Михаил Павлович) ничего от них добиться не мог — молчали! Генерал Закревский сказал, что ему стыдно смотреть на них.

— А нам,— отвечал вперед выступивший старый гренадер, на котором было 15 ран,—ни на кого смотреть не стыдно.

Желали солдат попугать, распустили под рукою слухи, что на них идет конница и готовы 6 пушек. „Мы под Бородиным и не 6 видели"— говорили они. В крепости, сойдясь с первой ротой, сказали: „вы вчера за нас заступились, а мы нынче — за вас!"

Еще до рассвета прибыл на Семеновский плац генерал Васильчиков и заявил собравшимся там солдатам, что он предал первую роту суду и без разрешения царя не выпустит ее из крепости. А так как и все остальные солдаты проявили непослушание, то корпусной командир приказал всем им идти под арест.

— Где голова, там и ноги,— послышалось в рядах солдат, и они покорно, не заходя даже в казармы, отправились в крепость.

„В городе волнение и тревога не переставали,— пишет Рылеев.—Полки ходили беспрестанно; пушки везли, сняряды готовили, ад'ютанты скакали, народ толпился; в домах было недоумение, не знали, что придумать и что предпринять, опасались бунта, и даже мудрено, как страх мнимой опасности не произвел настоящей". „Против фуражных и шинельных бунтовщиков вооружили весь петербургский гарнизон",—читаем в одном письме современника.

Все столичное общество сочувствовало семеновцам.

Движение грозило принять обширные размеры. Были обнаружены признаки готовности солдат других полков встать на защиту семеновцев. Так, после ареста восставшего полка был задержан унтер-офицер гвардейского егерского полка Степан Гущевозов и заключен в Шлиссельбургскую крепость за разговор с одним солдатом Преображенского полка о том, что „если не возвратят арестованных баталь-

онов, то они докажут, что революция в Испании ничего не значит в сравнении с тем, что они сделают". „Вся гвардия, говорил он, взбунтуется и сделает революцию... Взбунтуется вся гвардия — не Гишпании чета, все подымет". Бенкендорф писал Волконскому: „более чем вероятно, что если бы настоящая катастрофа потребовала вмешательства вооруженной силы, то сия последняя отказалась бы повиноваться, так как большая часть полков уже давно разделяла неблагоприятное мнение семеновцев о полковнике Шварце".

Семеновцы-солдаты держали себя на допросах с достоинством, не называли имен. Возмущение свое они об'ясняли жестокостью начальствующих лиц, мучивших их непомерными, совершенно ненужными для службы, тяготами.

Военно-судная комиссия признала виновными: трех рядовых второй роты и одного первой роты в подстрекательстве нижних чинов к неповиновению начальству и в ослушании, выразившемся словами и действием; 164 рядовых первой роты и 52 рядовых второй роты, не возвратившихся в казарму после выхода роты, в подании примера общего беспорядка; 172 человека первой роты комиссия нашла виновными в нарушении порядка службы и неповиновении фельдфебелю; 147 рядовых фузелерной роты признаны виновными в следовании примеру других рот. В виду этого комиссия постановила: 220 солдат считать подлежащими смертной казни, а всех остальных выписать в армию.

Резолюцией царя, писанной рукою Аракчеева, было приказано: восемь солдат прогнать по 6 раз сквозь строй через батальон и отослать на работу в рудники; всех остальных разослать в армию, причем они должны присутствовать при наказании товарищей, наказании, представлявшем худший вид смертной казни.

По удостоверению официального историка семеновского восстания, генерала М. И. Богдановича, — „судьба нижних чинов, переведенных в армию, была горестна. Там смотрели на них, как на людей, совершивших самое важное преступление, и столь уважаемое прежде имя семеновцев, для некоторых из новых их командиров, сделалось однозначущим с именем мятежников. Малейшие их проступки были непро-

стительны в глазах начальников, усердных не по разуму либо думавших, преувеличенною взыскательностью, угодить государю"...

По приказу царя было предписано не давать отставки солдатам, выслужившим свои сроки, не представлять их к производству в унтер-офицеры, а последних за выслугу лет—в офицеры. В июле 1821 г. предписано было не давать женам солдат паспортов на жительство в Петербурге и Москве. Еще раньше велено было детей бывших семеновцев, отданных в кантонисты, никуда на службу не назначать, иметь за ними особенный присмотр, о каждом их проступке доносить инспекторскому департаменту.

По С. Я. Штрайху и В. И. Семевскому.

Революционное воззвание 1820 года к солдатам Преображенского полка. *)

От солдат-семеновцев.

„Господа воины Преображенского полка. Вы почитаетесь первый полк Российский, потому вся Российская Армия должна повиноваться вам.

Смотрите на горестное наше положение! Ужасная обида начальников довела весь полк до такой степени, что все принуждены оставить орудие и отдаться на жертву злобе сих тиранов, в надежде, что всякий из воинов, увидя невинность, защитит нас от бессильных и гордых дворян. Они давно уже изнуряют Россию чрез общее наше слепое к ним повиновение.

Ни великого князя, ни всех вельмож не могли упросить, чтобы выдали в руки тирана своего начальника, для отомщения за его жестокие обиды; из такового поступка наших дворян мы, все российские войска, можем познать явно, сколь много дворяне сожалеют о воинах и сберегают тех, которые им служат; за одного подлого тирана заступились начальники и весь полк променяли на него. Вот полная награда за наше к ним послушание! Истина: тиран тирана защищает! У многих солдат от побоев переломаны кости а многие и померли от сего! Но за таковое мучение ни один дворянин не вступился. Скажите, что должно ожидать от царя, разве того, чтобы он нас заставил друг с друга кожу сдирать! Поймите всеобщую нашу глупость и сами себя спросите: кому вверяете себя и целое отечество и достоин ли сей человек, чтоб вручить ему силы свои, да и какая его послуга могла доказать, что он достоин звания царя? И если рассмотрите дела своего царя, то совершенно не вытерпите, чтобы публично не наказать его!

---

*) Воззвания эти подбрасывались во дворе казарм.

Александр восстановлен на престол тиранами, теми, которые удавили отца его Павла. Войско, или вы, в то время были в таких же варварских руках, в каких и ныне находится. Граждан гоняли к присяге в признании государя Александра, но присяга сия не вольная, а потому бог от народа оную не принимает, ибо всякий гражданин и солдат для избежания смерти обязан принять присягу! Следственно, царь никто иной, значит, как сильный разбойник. Он не спрашивает народа, что желают ли его признать царем, или не желают; а военную силу побуждает называть себя царем,— поныне берет в жертву наши головы и угнетает отечество; точно так и разбойник поступает со встретившимся путешественником. Он его грабит, и великая милость, если ограбленного оставит живого!..

Безчестно русскому войску поддерживать своими силами царя. [illegible]

Честно *истребить тирана* и вместо его определить человека великодушного, который бы всю силу бедности народов мог ощущать своим сердцем и доставлять средства к общему благу. Бедные воины! Посмотрите глазами на отечество, увидите, что люди всякого сословия подавлены дворянами. В судебных местах ни малого нет правосудия для бедняка. Законы выданы для грабежа судейского, а не для соблюдения правосудия. Чудная слепота народов!

Хлебопашцы угнетены податьми: многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна; семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно на подлого правителя и не спросите его, для какой выгоды дает волю дворянам торговать подобными нам людьми, разорять их и вас содержать в таком худом положении.

Для счастья целого отечества возвратите Семеновский полк, он разослан — вам неизвестно куда. Они бедные безвинно избиты, изнурены. Подумайте, если бы вы были на их месте и вышедши из терпения, бросят оружие, у кого бы

стали искать помощи, как не у войска? Спасите от разбойников своего брата и отечество!

Ищу помощи бедным, ищу искоренить пронырство тиранов и полагаюсь на ваше воинское правосудие и на вашу великую силу. Вы защищаете отечество от неприятеля, а когда неприятели нашлись во внутренности отечества, скрывающиеся в лице царя и дворян, то безотменно сих явных врагов вы должны взять под крепкую стражу и тем доказать любовь свою друг к другу. Вместо сих злодеев определить законоуправителя, который и должен отдавать отчет во всех делах избранным от войска депутатам, а не самовластителем быть.

Взамен государя должны заступить место законы, которые отечеством за полезное будут признаны!“

Автором этого воззвания считают декабриста С. И. Муравьева-Апостола.

ПЕСНЯ

о крестьянском горе-злосчастье.

Ах, и тошно же мне
Во родной стороне.
Все в неволе,
В тяжкой доле
Видно, век мне вековать!..
 Долго ль русский народ
 Будет рухлядью господ?
 И людями,
 Как скотами,
 Долго ль будут торговать?
Кто же нас закабалил?
Кто им барство присудил?
И над нами —
Бедняками —
Кто их с плетью посадил?
 По две шкуры с нас дерут.
 Мы посеем, они — жнут.



Сергей Иванович МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ.



И свобода
У народа
С давних пор уж отнята.
А что силой отнято, —
Силой выручим мы то.
И в приволье
На раздолье
Мы как встарь все заживем!
А теперь господа
Грабят нас без стыда.
И с обманом
В их карманах
Стала наша мошна.
Барин с земским судом,
Да с приходским попом,
Нас морочат.
Да волочат
По дорогам и судам...
А под царским орлом
Ядом поят с вином;
Лишь народу
Для заводу
Велят вчетверо платить.
А наборами царь
Усушил, как сухарь;
То дороги,
То налоги
Разорили нас в конец.
Ай, как худо в Руси,
Что и бог упаси!
Аракчеев
Всех затеев
И всех бед тому виной.
Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет —
Ему шутка,
А нам жутко,
Тошно так, что, ой, ой, ой!

К. Ф. Рылеев.

Солдатская прокламация 1820 г.

„Воины! Дворяне из Петербурга рассылают войска, дабы тем укротить справедливый гнев воинов и избегнуть общего мщения за их великие злодеяния. *Но я совстую учинить следующее*:

1) Единодушно арестовать всех начальников, дабы тем прекратить вредную их власть.

2) Между собою выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата солдата и поклясться умереть за спасение оных, если то нужно будет, а не выдавать своих.

3) Вновь выбранные начальники должны разослать приказы прочим полкам, чтоб поступили также, а командированные, посланные полки возвратить в Петербург. Когда старые начальники по всем полкам будут сменены и новые учреждены, то Россия останется по сему случаю без пролития крови. Если сего не учините и станете медлить в сем случае, то вам и всему отечеству не миновать ужасной революции!

Спешите последовать сему плану“.

Отдел III.

Декабристы в подполье.

ОТРЫВОК.

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благославлю!

К. Рылеев.

Тайные общества.

В то время многие офицеры гвардии и генерального штаба со страстью учились и читали преимущественно сочинения и журналы политические, также иностранные газеты, в которых так драматически представлялась борьба оппозиции с правительством в конституционных государствах. Изучая смелые политические системы и теории, весьма естественно, что занимающиеся ими желали-бы видеть их приложение в своем отечестве. А это и было главным предметом занятий размножившихся в Европе тайных политических обществ, которых члены исключительно посвящали себя политике. Статуты некоторых из этих союзов, существовавших во Франции и Германии, завезены были в Россию и навели наших либералов на мысль учредить тайное политическое общество у нас, с целью ограничить самодержавие. В конце 1816 года эта мысль осуществилась: несколько офицеров гвардии и генерального штаба условились составить тайное общество с целью, с какою все подобные общества учреждаются. Сначала они ограничились распространением так называемых либеральных идей и принятием новых членов. Обстоятельства в первое время благоприятствовали учредителям: никогда в России до того не бывало такой свободы в выражении своих мнений, как при Александре и, особенно, после французской войны. Этою свободою пользовались члены тайного общества и явно высказывая свои политические убеждения, нередко заставляли молчать самых горячих абсолютистов очевидностью тех истин, которые они провозглашали.

Один из членов союза (кн. Илья Долгоруков) в конце 1817 г. ездил в Германию и вошел в сношение с членами известного союза друзей добродетели (Tugendbund). Они сообщили ему свои статуты. Эти статуты были одобрены собравшимися в Москве в 1818 году членами, переведены

на русский язык и с некоторыми изменениями приноровлены к России. Первоначальное общество, по соглашению всех наличных членов, преобразовалось по этому новому уставу и приняло название *Союза Благоденствия*, который должен был состоять из правительственной думы и подчиненных ей управ, в тех местах, где будет находиться по десяти и более членов. Все эти управы сносятся между собою и с начальствующею думою. Не прибегая ни к каким насильственным мерам, Союз Благоденствия предполагал действовать на русское общество нравственными и научными средствами, по возможности искореняя невежество и злоупотребления убеждением и благими примерами давать благое направление воспитанию юношества, стараться об уничтожении крепостного рабства.

Главный недостаток тайного союза состоял в том, что начальство его не было облечено подлежащею властью, чтобы заставить подчиненные управы действовать в одном духе. Большинство не хотело подчиняться полновластной диктатуре одного или нескольких избранных лиц с обязательством полного им повиновения. Большая часть членов желала для России монархического образа правления, ограниченного представительными институциями, по образу Англии и Франции, но были приверженцы и республиканской свободы Северо-Американских Штатов, находя, что Россия сходствует с ними своим огромным пространством и несоответствующею тому малочисленностью населения, а также известными топографическими условиями и самым климатом с северною половиною Американского Союза.

С преобразованием первоначального тайного общества в Союз Благоденствия в 1818 г. число членов его значительно возросло; к нему стало присоединяться не одно уже молодое поколение, но и люди зрелого возраста и имеющие значение в свете. Несколько молодых генералов, многие начальники полков и штаб-офицеров, особенно 2-й армии, генерал-интендантов и большая часть офицеров, служивших в штабе этой армии в Тульчине—несколько уважаемых помещиков и гражданских чиновников даже высшего управления вступили в Союз Благоденствия от 1818 до 1823 года.

Члены Союза учреждали и отдельные от него общества, под влиянием его духа и направления: таковы были *общество военное*, которого члены узнавали друг друга по надписи, вырезанной на клинках шпаг и сабель: „За правду", *литературные*,—одно в Москве, другое в Петербурге, последнее под названием *зеленой лампы*, и две масонские ложи, в которых большинство братий состояло из членов Союза Благоденствия.

В 1820 г. осенью в Петербурге возмутился гвардейский Семеновский полк против полкового начальника, который вывел из терпения солдат, тиранически поступая с ними. Александр узнал об этом в Лайбахе от кн. Меттерниха, к которому отправленный курьер с этим известием от австрийского посланника предупредил несколькими часами посланного с донесением к императору адъютанта. Меттерних внушил Александру, что возмущение его любимого полка было возбуждено тайным обществом. Действитетьно, в этом полку лучшие офицеры были члены Союза Благоденствия *) но они не только не имели никакого участия в бунте солдат, а напротив успели успокоить их и привести в повиновение. Это обстоятельство, само по себе ничтожное, еще более раздражило Александра против либеральных идей и даже заставило его смотреть на геройское восстание греков, как на предприятие преступное, которое должно быть подавлено силою.

После истории Семеновского полка правительство усилило надзор тайной полиции, и это сделалось известно Союзу Благоденствия от одного из своих членов (полковник Ф. И. Глинка), который, служа при петербугском военном генерал-губернаторе, узнавал все распоряжения, относящиеся до тайной полиции, и читал даже донесения ее агентов. Это обстоятельство заставило Союз принять благоразумные предосторожности для своей безопасности и с этой целью назначить в Москве чрезвычайное собрание депута-

---

*) В Семеновском полку служили тогда С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин, которые оба были впоследствии (13 июля 1826 г.) повешены на валу Кронверской куртины.

тов от разных управ для принятия мер против подозрительности правительства.

В начале 1822 года собрались в Москве депутаты из Петербурга, Тульчина, Киевской губернии,— трех пунктов, где были самые многочисленные управы Союза. Собрание депутатов и наличных московских членов единогласно утвердило: упразднить Союз Благоденствия, во-первых, для того, чтобы этим решительным действием отвлечь внимание правительства, во 2-х, чтобы избавиться от некоторых членов, которых нравственный характер не соответствовал ни духу, ни направлению Союза. Это упразднение было мнимое, и он оставался тем же, чем был, но членам его было предписано поступать осторожнее в самой пропаганде, избегать всякой переписки по делам Союза, а ограничиваться одними устными сообщениями через членов-путешественников и вообще стараться покрывать существование Союза непроницаемой тайной.

Между тем, к управе в 3-м пехотном корпусе присоединилось новое тайное общество *Соединенных Славян,*—ветвь давно известного, существовавшего в Австрии *Панславизма.* Оно состояло из молодых артиллерийских и армейских офицеров и нескольких поляков. На Киевских контрактах в 1822 г. члены тульчинские и киевские имели совещания с уполномоченными от польского тайного общества о соглашении взаимных действий. Депутаты польские были: князь Яблоновский и полковник Крыжановский. Эти совещания не имели никакого результата по взаимной недоверчивости и неприязни русских и поляков.

За три последних года существование Союза Благоденствия не ознаменовалось никакими действиями. В Тульчине и Петербурге, где было более наличных членов, иные из них усердно занимались политическими науками. Главою Южного отделения был полковник Пестель — человек высокого ума, с большими познаниями, может быть даже гениальнный, но он не обладал даром, столь необходимым для предводителя политической партии — привязывать к себе людей. Пестель составил проэкт конституции для России под именем *Русской правды* и читал ее не только в собраниях

единомышленников своих, но даже на вечерах у начальника штаба 2-й армии генерала Киселева, любимца Александра и искренно преданного ему. Стало быть, в этом проэкте, как в умозрительном опыте, не было ничего преступного. *) В Петербурге один из самых достойных (умных) и образованных членов (с чистой, пламенной душой), Никита Михайлович Муравьев, написал свой проэкт конституции. Пестель поплатился за это жизнью — на виселице, а Муравьев ссылкою в Сибирь (в каторжную работу).

В Петербурге, Тульчине и в 3-м пехотном корпусе в Киевской губернии члены Союза собирались на дружеские беседы толковать о политике, о незавидном положении русского народа (о необходимости реформ) и пр. На этих вечерах молодые люды позволяли себе иногда нескромные и легкомысленные выходки против правительства. Припоминая случаи русской истории, что императоры не раз умирали насильственною смертью (Петр III, Павел), называли такие примеры радикальными средствами преобразования России, если только уметь ими воспользоваться.

Декабрист *М. А. Фонвизин.*

---

*) Это, конечно, неверно: „Русск. Правда“ была, по тому времени, актом ярко революционным.

Северное и южное общества.

Первое тайное Общество зародилось в 1816 году. Первыми, посвятившими себя благу отечества были—полковники Муравьев (Александр Ник.), Пестель (Пав. Ив.); капитаны князь Сергей Трубецкой, Никита Муравьев; к ним вскоре присоединились подполковник Михаил Лунин, капитан Якушкин, генерал Михаил Орлов, генерал князь Лопухин, статский советник Николай Тургенев, князь Илья Долгоруков, капитаны Бурцов, Муравьев (Мих. Ник.), Перовский (Лев. Ант.), братья Шиповы, Бибиков (Апол. Ил.), Пущин (Ив. Ив.), Семенов (Ст. Мих.), полковник Глинка (Фед. Ник.) Кавелин, полковник Граббе, Токарев—и другие.

Это общество вначале приняло название „Союза Спасения“ или „верных сынов отечества“. Впоследствии, в 1818 году, когда был выработан его устав, оно приняло название, „Союза общественного благоденствия“ и „Зеленой книги“.

Вот его программа:

Уничтожение рабства.

Равенство граждан перед законом.

Гласность в государственных делах.

Гласность судопроизводства.

Уничтожение винного откупа.

Улучшенние военных поселений.

Упразднение участи защитников отечества.

Уменьшение срока военной службы (с 25 лет).

Сокращение состава армии в мирное время.

В 1820 году, собрался в Москве с‘езд под председательством Николая Тургенева. На нем присутствовали депутаты: Якушкин, два брата Фонвизины, Михаил Муравьев, генерал Орлов, Бурцов, полковники Граббе и Комаров, капитан Охотников, полковник Глинка. В результате этого собрания Тайное Общество было об‘явлено распущенным; но это было сделано для того, чтобы преобразовать его более действитель-

ным образом и, главным образом, чтобы устранить бесполезных членов, которых в нем было много. На деле же оно должно было продолжаться.—Тайное общество преобразовалось и, чтобы расширить свою деятельность, оно разделилось на Северное и Южное.

В *Северном* был назначен директором Никита Муравьев. В 1823 году к нему были присоединены князья Трубецкой и Оболенский. После отʼезда Трубецкого в Киев был избран а его место Кондратий Рылеев. В это время Северное Общество пополнилось многими членами.

Братья Бестужевы (Николай Александрович и Михаил Александрович), Александр, известный в нашей литературе под именем Марлинского, Михаил Нарышкин, Сутгоф, Панов, князь Александр Одоевский, Вильгельм Кюхельбекер, флота капитан Торсон, много офицеров главного штаба, почти все офицеры гвардейского флотского экипажа, много офицеров Московского полка, Измайловского гренадерского, конной гвардии, 15 офицеров-кавалергардов, несколько офицеров-артиллеристов и гвардейских сапер.

Никита составил проект монархической конституции, которая, подобно конституции Соединенных Штатов Северной Америки, предоставляла особе верховного правителя ограниченную власть. Он предпринял составление катехизиса свободного человека, который был закончен С. Муравьевым-Апостолом. Александр Бестужев сочинил песни, которые произвели впечатление. Кондратий Рылеев, эта пламенная душа, сочинил поэмы „Войнаровский“, „Исповедь Наливайки“, где предсказал судьбу свою и своих благородных друзей. Члены Северного Тайного Общества делились на „убежденных“ и „соединенных“. На собраниях, происходивших периодически, сообщалось об успехах общества, обсуждались намеченные к принятию меры и допущение новых членов, сообщалось о новых злоупотреблениях администрации.

Южное Тайное Общество продолжает дело. Полковник Пестель и генерал-интендант второй армии Юшневский (Алекс. Петр.). председательствуют в Тульчинской директории, которая подразделяется на две управы: Васильков-

скую и Каменскую. Они управлялись: первая С. Муравьевым, который присоединил к себе впоследствии Михаила Бестужева-Рюмина, вторая—Василием Давыдовым, братом знаменитого генерала Раевского, и князем Волконским (Серг. Григ.).

Полковник Пестель и С. Муравьев были стержнем, вокруг которого вращалось все движение Южного Общества. Они привлекали многих последователей и действовали энергично. Большая часть членов слепо верила в них. Пестель был ад'ютантом главнокомандующего второй армии графа Витгенштейна, который находился под его влиянием, влиянием необыкновенного человека. Подполковник С. Муравьев был человек замечательный по своему уму, своей доброте, своими знаниями и энергичному характеру. Солдаты обожали его. Его любил каждый, имевший счастье быть близким к нему.— Сами тюремщики говорили о нем с уважением.— Отличный офицер великолепного старого Семеновского полка, он один имел возможность удержать свою роту.

Южное Общество делилось на членов и на бояр. Полковник Пестель составил проект республиканской конституции под названием „Русская Правда“.

Общество Соединенных Славян было присоединено к Южному Тайному Обществу Бестужевым-Рюминым — молодым человеком, полным восторженности и большой живости ума, преданным другом С. Муравьева, что говорит в его пользу. Артиллерийский поручик Борисов в Следственной Комиссии взял на себя вину за основание этого общества. Соединенные Славяне были многочисленны.

Существование Тайного Общества в течение десяти лет при самовластном и подозрительном правительстве есть нечто исключительное. В последние годы царствования Александра I стало чувствоваться влияние О-ва на общественное мнение. Получила распространение мысль, что самодержавная власть есть нечто чудовищное, нечестивое, что пользование ею превышает силы одного человека. Образ конституционного правления имел приверженцев.

Ошибки и погрешности неизбежны в столь обширном предприятии. Они были многочисленны. Следовало то сдерживать слишком пламенную ревность, то возбуждать медли-

тельных, порою умерять беспокойство. Тайное Общество насчитывало двух изменников. Один — англичанин Шервуд, другой — русский Майборода, который был казначеем в полку Пестеля. Майборода был скомпрометирован растратой, и оба донесли о существовании общества. Они получили награды, и государь присоединил к имени Шервуда прозвище „верный“. Шервуд был вынужден уйти из гвардейского драгунского полка, офицеры которого не хотели иметь его товарищем. Майборода влачил свои дни презираемый всеми порядочными людьми. Это были те два суб‘екта, которые передали Александру список членов Тайного Общества, найденный в Таганроге после его смерти.

Декабрист *А. М. Муравьев.*

Ах, где те острова [1])...

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle [2])
И летят под постель
Святцы...
Где Бестужев-драгун [3])
Не дает карачун
Смыслу;
Где наш князь-чудодей [4])
Не бросает людей
В Вислу;
Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты!..
...Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят;
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят!..

1823—24 г.

---

[1]) Это стихотворение написано декабристами К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым.

[2]) Поэма Вольтера, запрещенная в то время в России.

[3]) А. А. Бестужев.

[4]) Великий князь Константин Павлович, брат царя Александра I, прославившийся свими жестокостями в должности наместника в Польше.

Речь декабриста М. П. Бестужева-Рюмина в О-ве Соединенных Славян в сентябре 1825 г. *)

„Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной,— русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе? Взгляните на народ, как он угнетен. Торговля упала; промышленности почти нет; бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки. Войско все ропщет. При сих обстоятельствах не трудно было нашему Обществу распространиться и прийти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют. Многие из тех, коих правительство считает вернейшими оплотами

---

*) Эта речь воспламенила всех присутствовавших на собрании. Другой член тайного общества, Я. М. Андреевич, в своем показании о роли Бестужева-Рюмина в деле присоединения Общества Соединенных Славян к Южному Обществу, передает общий смысл его речи сходно с собственным изложением оратора и заявляет: „Каждый чувствовал справедливость сих убеждений и соглашались жертвовать своей жизнью, клялись мстить своему мучителю, кто бы он ни был, хотя бы даже в царствующей особе заключалась причина их угнетения".

Декабрист И. И. Горбачевский подробно говорит в своих записках об увлекательности самой личности Бестужева-Рюмина и его речей и так заканчивает описание упомянутого собрания: „Энтузиазм Бестужева-Рюмина походил на вдохновение; уверенность в успехе предприятия вдыхала в сердце каждого несомненную надежду счастливой будущности". Вместе с Муравьевым-Апостолом Бестужев-Рюмин организовал восстание Черниговского полка и был повешен 13 июня 1826 года.

самовластия—сего источника всех зол, уже давно ревностно нам содействуют. Самая осторожность ныне заставляет вступить в общество, ибо все люди, благородно мыслящие, ненавистны правительству: они подозревамы и находятся в беспрестанной опасности. Общество по своей многочисленности и могуществу—вернейшее для них убежище. Скоро оно восприемлет свои действия, освободит Россию и, быть может, целую Европу. Порывы всех народов удерживает русская армия. Коль скоро она провозгласит свободу, все народы восторжествуют. Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века“.

П. И. Пестель и его роль в заговоре 1825 г.

В Литве, в главной квартире второй армии, бывшей под начальством князя Витгенштейна, два офицера, два брата Муравьевы основали политическое общество. Сойдясь с несколькими офицерами и видя, что дело идет на лад, отправились в Петербург познакомиться с настроением императорской гвардии. Они там нашли больше, чем симпатию: они встретили в полках зародыши общества, группы офицеров, вполне готовых присоединиться к ним: несомненное доказательство, что настало время для большой политической реформы.

Все эти группы слились с обществом Муравьевых и легко объяснить, почему провинциальное общество взяло верх и почему гвардейские офицеры присоединились к армейским, а не привлекли их к себе. Вскоре после основания муравьевского общества заговорщики познакомились с адъютантом фельдмаршала, полковником армейского полка П. Пестелем. Он тотчас же вступил в общество, и с того дня он стал его центром, его душой. Благодаря ему, смутные стремления, либеральные тенденции стали иметь цель, практическое назначение; его большая фигура господствует над всем заговором, она велика даже в ядовитых рассказах следственной комиссии.

Горячий республиканец и решительный революционер, он ничего не навязывает, ничего не ускоряет. Он действует с удивительным благоразумием, с удивительной выдержкой. Он старается только лучше организовать общество. Он дает ему устав и централизирует его. Хорошо зная души, еще богобоязненные, этих молодых людей, благородных, преданных, но едва только еще пробудившихся для восприятия политических идей, он соглашается с ними, что главное дело будет — ограничить произвол царя.

В отрывках, цитированных следствием из его бесед с другими, невозможно не удивляться его такту и разносторонности его воздействий. Он соглашается с одними, что конституция на английский манер была бы очень хороша, но раз только собеседник его сомневается в этом, то он добавляет, что он лично предпочел бы американскую конституцию, которая, говорил он, годится для всех, а не только „лордам и купцам“; он, впрочем, думает, что если бы можно было навязать императору хартию, то это был бы уже большой прогресс; затем, в несколькнх словах он смутно указывает на смерть императора, как на возможную случайность. Он сомневается в возможности одним только давлением общественного мнения заставить самодержца уступить часть своей власти. Он доказывает, что это достижимо только силой и что для того, чтоб ограничить власть, надо не менее силы, чем для того, чтоб ее *уничтожить*.

Хотя он был так благоразумен (следственная комиссия считает все это за увертки), он был все же понят: его испугались. Александр Муравьев отдалился от общества. Члены „Союза Благоденствия“ роптали. Северное общество начинало бояться честолюбия Пестеля. Кажется, что и Никита Муравьев, бывший главой этого общества, а за ним и Рылеев разделяли это мнение. Пестель решил тогда созвать общий с‘езд обществ Северного и Южного в Москве. Собрались. Ни на чем не согласились. Некоторые члены кричали против диктатуры Пестеля в Южном обществе, говоря, что цель общества превзойдена, многие прислали письменно свою отставку. Тогда друзья Пестеля, в согласии с наиболее энергичными членами, предложили полное распущение „Союза Благоденствия“. Предложение было принято, и распущение провозглашено Н. Тургеневым, который председательствовал в тот день. Это происходило в Москве в феврале месяце 1821 года.

Полковник Аврамов, возмущенный, один протестовал против распущения „союза“, с жаром говоря, что „если даже все оставят общество, то и тогда оно не будет вследствие этого распущено, потому что оно будет существовать в нем, еслиб даже он был один“.—Но он сильно ошибался.

Никогда такие люди, как Пестель, Юшневский, Фонвизин, Н. Муравьев, Бестужев-Рюмин, не думали покончить с союзом. Для Пестеля это было средством избавиться от слабых и организовать общество не только без участия старых членов, но даже и без того, чтобы они что-либо о нем знали. Немедленно преобразованное, новое общество выбрало распорядителями: Пестеля, Юшневского и Н. Муравьева. С самого начала оно приняло характер решительный и революционный. В два года оно приобрело столь большую силу и распространение, что в 1823 году мы уже видим четыре новых общества, организованных по распоряжению главного общества, которое находилось в Тульчине, резиденции главного штаба второй армии. Пестель, укрепившийся и властвующий, не „увертывается“ более. Он прямо идет к цели, к полному и радикальному переустройству правительства на основах не только республиканских, но и социалистических.

Теперь уже дело идет не о том, чтобы критиковать английскую конституцию. Пестель прямо ставит членам общества следующий вопрос: „В случае успеха, что делать с царской фамилией?“ Предложено—изгнание, тюрьма, ссылка. „Надо ее уничтожить!“—сказал Пестель, выслушав все это. „Как“, вскричали все, „это ужасно!“—„Я это отлично знаю“. Друзья Пестеля заколебались; пустили на голоса. Большинство было за Пестеля, большинство, очень небольшое, только шести голосов.

Несколько месяцев спустя, Пестель собрал всех главарей и еще раз предложил им тот же вопрос. Все были за него. Вследствие этой-то резолюции Бестужев-Рюмин требовал в 1824 году от польских обществ убить, в крайнем случае, цесаревича Константина.

Прежде чем говорить о сношениях пестелевского общества с варшавскими революционными обществами, мы должны сказать несколько слов о Северном обществе.

Распущенное общество снова восстановилось также в Петербурге и с гораздо большей энергией. Во главе этого общества мы сначала видим князя Трубецкого, затем Н. Муравьева и князя Оболенского. Наконец, немного позднее, им

руководил человек самый замечательный из петербуржцев, поэт Рылеев. Северяне сильно приблизились тогда к идеям Южного общества, но эта несчастная мысль, „что Пестель был скорее Бонапартом, чем Вашингтоном“, преследовала северных людей и постоянно мешала полному соглашению и единству действий. Молодые энтузиасты не понимали зрелого человека. Говоря однажды с Пестелем о необходимости временной диктатуры, которою его облекут, Поджио добавил: „Конечно, такое состояние продолжится только несколько месяцев“.—„Как, возразил Пестель, вы думаете изменить всю эту правительственную машину, дать ей другое основание, приучить людей к новой организации и это в несколько месяцев! Для этого нужен десяток лет“.—Пестель был совершенно прав. Руководило ли хоть сколько-нибудь его мнениями честолюбие, это довольно безразлично. Важно то, что Пестель понимал революцию совершенно иначе, чем его петербургские друзья. „Тщетно провозглашать республику“, говорил он на одном заседании, „это будет только перемена названия. Нужно коснуться земельной собственности. Надо, во чтобы то ни стало, дать землю крестьянам, только тогда совершена будет революция“.

Вскоре после своего учреждения, Южное общество вошло в сношение с варшавскими политическими обществами. Бестужев-Рюмин, первый открывший их, сообщил о том распорядительному комитету и получил тотчас же поручение и полномочие войти с ними в сношения. Поляки, с своей стороны, послали Крыжановского. Основания союза были следующие: признание русским обществом независимости Польши и провинций, которые еще не успели совершенно обрусеть, включая туда Белостокский край и часть губерний Гродненской, Виленской, Минской и Подольской; польское же общество брало на себя обязательство начать восстание в одно время со второй армией и завладеть особою великого князя. Другое условие ставилось русским обществом,— и нужно ли говорить, что это было продиктовано Пестелем,— это, провозглашение в Польше республики.

Поляки не хотели вперед решать вопрос о форме правления, они не хотели также брать на себя обязательство

убить великого князя. Бестужев-Рюмин и С. Муравьев, после долгих споров, согласились, наконец, с двумя комиссарами, присланными из Варшавы: Гродецким и Каркоским, что поляки поступят с членами царской фамилии, которые будут находиться в Польше, так же, как Русское общество поступит с теми, которые будут в России. Пестель отправился сам, в сопровождении князя Волконского, на второе свидание с комиссарами Гродецким и Янковским.

Около этого времени отделение Южного общества, отделение, называвшееся Васильковским (от Василькова, где оно пребывало), открыло другое общество, основанное артиллерийским офицером Борисовым. Господствующей идеей этого общества, состоявшего из русских и поляков, которое называлось „*Соединенными славянами*“, было — работать над соединением славянского мира в одну федеральную республику, в которой каждый народ должен был сохранить свою полную автономию и соединиться с другими только федеративными узами. Бестужев предложил этому обществу присоединиться к большому обществу, что оно и сделало.

Соединенные славяне примирились также и с мыслью убить императора Александра; это достойно внимания и показывает, что, под влиянием Пестеля, пришли к соглашению по всем пунктам; некоторое же время спустя, С. Муравьев присоединил их окончательно.

Момент действий приближался. Южное общество разветвлялось во всей второй армии, а петербургское общество окружало трон и завоевало сочувствие среди аристократии; обстоятельства складывались благоприятно. Пестель, прекрасно чувствовавший неотложную необходимость действовать, был недоволен петербургским доктринерством и недостатком единства между южными и северными обществами. В 1824 году он сам отправился в Петербург. Он настаивал на слиянии обществ под одним управлением и, после долгих прений, добился на то согласия. Но противоположная сторона сильно сопротивлялась насильственным и решительным мерам, которые он предлагал. Была еще партия, стоявшая за конституционный режим и не желавшая провозглашать республику, кроме того случая, если император

отказался бы дать хартию. В этом случае царскую фамилию предполагалось отправить в ссылку. Пестель оставался при своем мнении. „Мы хотим очистить дом“, говорил он; его проект был — завладеть, благодаря внезапному нападению, императором и его семейством и покончить с ними; завладеть тотчас же сенатом и синодом, заставить их провозгласить новое правительство и, как только это будет сделано, об‘явить всех высших чиновников, гражданских и военных, уволенными в отставку и заменить их членами общества.

Однако, Пестель должен был покинуть Петербург без полного успеха. Он предложил тогда созвать общий решающий с‘езд в начале 1826 года. Но он требовал, чтобы, в случае, если состоится соглашение, было немедленно приступлено к действиям. Положение было трудное. Кипучие и экзальтированные молодые люди южных отделений, особенно Васильковское отделение, едва сдерживались авторитетом Пестеля, и когда правительство вдруг, не об‘ясняя причин, отняло саратовский полк от полковника Швейковского, пылкого заговорщика, то чуть было не вспыхнуло восстание.

С другой стороны, общество становилось слишком велико, слишком многочисленно, чтобы долго оставаться тайным. Пестель, следовательно, был прав: неотложность была очевидна, и мы вполне уверены, что если бы, начиная с конца 1824 года, не теряли драгоценного времени, восстание имело много шансов на успех. Но два доноса, посланные в Таганрог (естественные последствия этой потери времени) и неожиданная смерть Александра окончательно расстроили план Пестеля.

Надо, впрочем, вспомнить, что во времена Александра этой страшной полиции, создания Николая, не существовало. Не думали ни о каком нападении. Дворцы, крепости были охраняемы скорее из военного приличия, чем серьезно, а с другой стороны, не следует забывать общественного положения главарей заговора. Пестель жил в главной квартире армии Витгенштейна, с которым он имел ежедневные сношения, будучи его старшим ад‘ютантом. В то же время он был командиром полка, который был ему предан; среди его друзей, вполне разделявших его взгляды, был генерал-

интендант второй армии Юшневский и два строевых генерала — Фонвизин и князь Сергей Волконский.

В том же Южном обществе мы находим между самыми энергичными членами шесть полковников:

Артамон Муравьев, Ахтырского гусарского полка.

Нарышкин, Тарутинского полка.

Швейковский, Саратовского полка.

Аврамов, Казанского полка.

Тизенгаузен, Полтавского полка.

Враницкий, полковник-квартирмейстер.

К ним следует прибавить Сергея и Матвея Муравьевых, которые оба были подполковники.

При таком составе и имея в своем распоряжении множество офицеров, полковые деньги и все секреты главного штаба, интендантства и канцелярии фельдмаршала, для них не было невозможным арестовать князя Витгенштейна в тот день, когда Вятский полк будет дежурным, подождать императора Александра на маневрах и завладеть им, арестовать старших генералов, немедленно занять Бобруйскую крепость, чтобы иметь точку опоры, и оттуда договориться с Варшавой и Петербургом. Вот чего хотел Пестель.

Северное общество, с своей стороны, должно было попытаться произвести восстание гвардии.

Оно считало среди своих членов очень влиятельных офицеров, именно — князя Трубецкого, командира Преображенского полка и прикомандированного к главному штабу, Митькова, команд. Финляндского полка, Николая Муравьева — капитана главного штаба, князя Оболенского, Бестужева и несколько замечательных людей своей храбростью, как, например, Лунин, Якубович, Булатов и проч.

Но сила Северного общества не заключалась исключительно в военном элементе. Разделявшееся между Москвой и Петербургом, это общество имело преданных членов или друзей в различных частях центральной администрации, среди самой высшей аристократии и приближенных императора. Каждый шаг правительства был немедленно известен заговорщикам. Так, в донесении следственной комиссии мы видим, что прокурор Сената Краснокутский прибегает

14 декабря 1825 г. к Рылееву, чтоб его предупредить, что сенаторы решили собраться 14-го в 7 часов утра для присяги Николаю. Семенов, директор канцелярии князя Голицына в Москве, состоял членом общества, а другой член, Якубович, был другом петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича.

Заговорщики до 14-го декабря были каждый день уведомляемы о поступках царской фамилии. Молодой князь Одоевский, кавалергардский офицер, держал их в известности обо всем, что делалось и даже говорилось во дворце.

Их влияние на общественное мнение было весьма значительно. Люди образованные, энергичные и чистые, а это не очень обыкновенно в России, — они господствовали над частью аристократии, а посредством принадлежавшей им литературы, над всем молодым поколением. Энергические поэмы Рылеева, рассказы Бестужева, *Полярная Звезда* — ежегодник под их общей редакцией, *Мнемозина*, обозрение Кюхельбекера и князя В. Одоевского, распространялись в университетах, лицеях и даже в военных школах.

Рылеев был, может быть, самый замечательный из членов Северного общества. Это — Шиллер заговора, элемент восторженный, юношеский, поэтический, элемент жирондистский в лучшем смысле этого слова. Его поэма „Войнаровский“ (из времен Мазепы), его народные легенды—произведения большой красоты. Его поэзия полна меланхолической покорности провидению. Немного надежд, но много самопожертвования. Он идет на каторгу или на смерть; он это знает, но спрашивает: „Где же вы видели, чтобы свободу завоевывали без жертв“? — „Я знаю“, говорит казак Наливайко исповедывающему его попу, „я знаю, что меня ожидает, но я благословляю свою судьбу с радостью“! Вот Рылеев—весь. Хотя избранным диктатором был князь Трубецкой, но к концу 1825 года истинным главой общества был Рылеев.

Пестелю удалось убедить Северное общество, что нельзя было терять времени и оно готовилось следовать за Южным обществом, когда одно за другим, как удары грозы, получились следующие известия: Александр умер; на Южное

общество поступил донос; Константин отказывается от престола; Николай его не принимает.

Как же было заговорщикам, уже преданным на юге и в Петербурге, не воспользоваться этой сумятицей отречений, этой тревогой, брошенной в совесть каждого присягающего и неприсягающего, этим междуцарствием с двумя императорами? Не одни бедные солдаты потеряли голову: московский генерал-губернатор ведет сенаторов присягать Константину Павловичу, по записке Милорадовича, а московский митрополит не хочет принимать присяги, говорит, что все это вздор, что у него есть в Успенском соборе свой секрет.

К тому же попытка 14 декабря вовсе не была так безумна, как ее представляют. Она не удалась,—вот все, что можно сказать, но успех не был безусловно невозможен, Что было бы, еслиб заговорщики вывели солдат не утром 14, а в полночь и обложили бы Зимний дворец, где ничего не было готово? Что было бы, еслиб, не строясь в каре, они утром всеми силами напали бы на дворцовый караул, еще шаткий и неуверенный тогда?

Много ли сил надо было иметь Елизавете при воцарении, Екатерине II для того, чтобы свергнуть Петра III?

„Нет правительства, с которым бы легче сменялось лицо главы, как в военном деспотизме, запрещающем народу мешаться в общественные дела, запрещающем всякую гласность. Кто *первый* овладеет местом, тому и повинуется безмолвная машина с тою же силой и с тем же верноподданническим усердием“.

А. И. Герцен.



Павел Иванович ПЕСТЕЛЬ.

„Русская Правда“ П. И. Пестеля.

План государственного устройства, развитый в „Русской Правде“, отличался глубоким демократизмом. Из трех принципов великой французской революции: Свобода, Равенство, Братство, Пестель проникся особенно вторым: Равенством. Полное „равенство граждан“, в целях „возможно большего благоденствия всех и каждого“ (по принципу Бентама), составляет основную идею „Русской Правды“. „Гражданские общества,—писал Пестель, а следовательно и государство, составлены для возможно большего благоденствия всех и каждого, а не для блага некоторых, за устранением большинства людей. Все люди в государстве имеют одинаковое право на все выгоды, государством доставляемые, и все имеют равные обязанности нести все тягости, нераздельные с государственным устройством. Из сего явствует, что все люди в государстве должны непременно быть перед законом равны и что всякое постановление, нарушающее сие равенство всех перед законом, есть нестерпимое зловластие (деспотизм), долженствующее непременно быть уничтоженным“.

С этой точки зрения, Пестель резко высказывается против каких бы то ни было сословных преимуществ, как старой „феодальной аристократии“, так и новой „аристократии богатств“. Сословный строй он называет „пагубным безрассудным, зловредным“, потому что сословия „одним только пристрастием дышат“ и „для пресыщения корысти нескольких людей жестокую оказывают несправедливость против наибольшей части народа“. Он считает необходимым „всякую даже тень аристократического порядка, хоть феодального, хоть на богатстве основанного, совершенно устранить и навсегда удалить“. Намечая реформы для введения в России нового гражданского строя, основанного на равенстве, Пестель с особою силою обличает крепостное право, как „дело постыдное, противное человечеству, противное

законам естественным, и, настаивая на „решительном уничтожении рабства“, говорит: „дворянство должно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми“.

Во имя полного равенства граждан, Пестель всему „народу“ предоставляет всеобщее и равное избирательное право. Он стремится к тому, чтобы никто „не был зловластно от участия в государственных делах исключен“, чтобы „строгое соблюдено было беспристрастие против всех и каждого“, чтобы „гибельный обычай даровать некоторым людям привилегии, за исключением массы народной, был совершенно уничтожен“, чтобы граждане при выборах не были стеснены и не были принуждены взирать ни на сословие, ни на имущество, а единственно на одни способности и достоинства. Выборы, по его проэкту, в „верховное законодательное“ учреждение (вече) должны были быть, однако, не прямыми, а двустепенными. Народное собрание волости, состоящее из всех граждан, приписанных к волости, избирает представителей в „Окружное Наместное Собрание“, а это последнее и избирает представителей в „Народное Вече“.

Для „утверждения истинного благоденствия всех и каждого“, Пестель не ограничивается равенством в области политических и гражданских прав, но идет дальше, в область экономическую, и считает нужным „установить возможность для каждого человека пользоваться необходимым для его жития“. Не дойдя до отрицания собственности, Пестель сделал попытку согласить существование частной собственности с правом каждого на необходимые средства к жизни, разработав любопытный проэкт аграрной реформы—„разделения земель“. Этот проэкт, изложенный в „Русской Правде“ составлял одно из основных положений его программы, на котором он упорно настаивал пред сотоварищами по Тайному Обществу. „В отношении права собственности на землю — писал Пестель — существует два главных мнения. Первое мнение, что „земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц, и посему не может она быть разделена между несколькими только людьми, за исключением прочих“. По другому мнению, напротив

того, „труды и работы суть источники собственности, и тот, который землю удобрил и оную способной сделал к произведению разных произрастаний, исключительное должен на ту землю иметь право обладания". „Сии два мнения — говорит Пестель — совершенно друг другу противоречат, между тем как каждое из них много истинного и справедливого содержит". Примиряя эти мнения, он не отвергает права собственности, но считает необходимым обеспечить каждому гражданину обладание землей в мере, необходимой для поддержания жизни: „установив возможность для каждого человека пользоваться *необходимым* для жития... надлежит полное дать обеспечение и совершенную свободу приобретения и сохранения *изобилия*". Соответственно этому, земли каждой волости должны быть разделены на две половины: земли общественные и частные. „Земля общественная будет всему волостному обществу совокупно принадлежать и будет подлежать обладанию всех и каждого", для доставления всем гражданам *необходимого*. Другая половина земель „предназначается для образования частной собственности, для доставления *изобилия*".

В своем увлечении равенством, Пестель решительно отрицал всякие национальные отличия племен и народностей, принадлежащих к одному государству. Он хотел сделать свое эгалитарное демократическое государство единым и тесно сплоченным. „Все племена — писал он — должны быть слиты в один народ" и требовал обрусительных мер не только в отношении различных русских племен, но и в отношении финляндцев, евреев и других, чтобы „слить всех в одну общую форму". Он опасался разнородности частей и федеративного устройства, полагая, что они ослабляют внешнее могущество государства, что вследствие разнородности частей, Россия „скоро потеряет не только свое величество, могущество и силу, но даже, может быть, и бытие свое между большими или главными государствами". Исключение Пестель допускал только для Польши и, не находя возможным достичь ее обрусения, требовал для нее полной независимости.„ Благо государства — рассуждал — он требует тесного об'единения племен; но, раз подчиненная

народность слишком сильна для полного подчинения и имеет исторические права на самостоятельное национальное существование, то же благо государства требует ее отделения. В польском вопросе „право народности" побежденного должно брать верх над „правом благоудобства" победителя.

Государство, преобразованное на указанных демократических уравнительных началах, должно было, по плану Пестеля, иметь республиканскую форму правления. Законодательная верховная власть поручалась *Народному Вечу* из народных представителей, избранных на 5 лет. Верховная исполнительная власть вверялась *Державной Думе* из 5 членов, избранных народом также на 5 лет. Кроме законодательного Веча и исполнительной Думы, Пестель считал необходимым еще третье верховное учреждение с властью *блюстительной*, „дабы те две не выходили из своих пределов". Эту власть он поручал особому Верховному Собору из 120 бояр, назначаемых на всю жизнь. В этом проэкте он близко следовал французскому политику Детю де-Траси, книга которого „Комментарий к „Духу Законов" Монтескье" оказала на него большое влияние, по его собственному признанию.

Достигнуть утверждения такой демократической республики в России, Пестель надеялся путем военного переворота и предоставления полноты власти на переходные годы реформы *Временному Верховному Правлению*. „Русская Правда" должна была служить наказом этому правлению, и власть вверялась ему с обязательством в преобразовании государственного строя точно следовать началам, изложенным в этом наказе.

Диктатура Временного Верховного Правления представлялась Пестелю необходимой потому, что он не надеялся провести свой план преобразований чрез представительное учреждение. „Представительный собор, писал он в „Русской Правде", не может быть созван, ибо начала представительного верховного порядка в России еще не существуют". В осуществимость же своего плана военного переворота он верил, основываясь на примере современных ему революций в Испании, Португалии и Неаполе.

Эти же революции убеждали его в необходимости поставить целью переворота республику, а не конституционную монархию, потому что примеры реставрации абсолютизма в Испании и Португалии давали ему „неоспоримые доказательства непрочности монархических конституций и полные достаточные причины к недоверчивости к истинному согласию монархов на конституции, ими принимаемые“. И чтобы предотвратить возможность реставрации абсолютизма, Пестель со свойственной ему смелой последовательностью пришел к мысли о необходимости не только цареубийства, но и истребления всех членов императорской фамилии, как возможных претендентов на престол. Этот смелый шаг, как решительный кровавый разрыв с прошлым, должен был обеспечить трудную преобразовательную работу Временного Верховного Правления. Поэтому, как ни пугал многих его план, он твердо настаивал на недостаточности одного только цареубийства.

Н. П. Павлов-Сильванский.

Пестель — об истреблении Романовых.

При первом же знакомстве с декабристом А. В. Поджио (в конце 1824 г.) Пестель, об'яснив ему все основания своего плана, старался убедить его в необходимости истребления всей императорской семьи. Поджио подробно рассказывал на следствии об этой первой встрече своей с человеком, „славой которого — говорит он — все уши мои были полны; я столько знал, столько слышал, что он уже не мог меня удивить ни умом, ни умышлениями, ничем". Пестель начал „с азбуки в политике, преступлении и действии"; „затем,— рассказывает Поджио — ввел меня в свою республику". Наконец,—„приступил к заговору о совершении невероятного покушения".

— „Давайте — мне говорит — считать жертвы". И руку свою сжал, чтобы производить счет ужасный сей по пальцам.

Видя Пестеля перед собой, я стал называть, а он считать. Дойдя до женского пола, он остановил меня, говоря:

— „Знаете ли, что это дело ужасное!"

— „Я не менее вас в том уверен"...

Сейчас же после сего опять та же рука стала предо мной. И ужасное число было тринадцать!

Наконец, остановившись, он, видя мое молчание, говорит так:

— „Но этому и конца не будет! Ибо также должно будет покуситься и на особ фамилии, в иностранных краях находящихся".

— „Да,— я говорю — тогда точно уже конца ужасу сему не будет, ибо у всех великих княгинь есть и дети",— говоря, что для сего провозгласить достаточно отрешение от всякого наследствия, (и) добавив впрочем: „Кто захочет столь окровавленного престола".

Вслед за сим он мне говорит:

— „Я препоручил уже Барятинскому приготовить мне двенадцать человек, решительных для сего!"

На следствии Пестель сначала старался доказать, что Поджио „представил этот разговор в совершенно превратном виде“, и что они беседовали „без всех этих театральных движений“. Но на очной ставке должен был сознаться, что они, *„действительно, жертвы из императорской фамилии считали“*.

С. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, приняв все главные пункты программы Пестеля, согласившись и на цареубийство, долго противились плану истребления всех особ императорского дома. На следствии Муравьев-Апостол утверждал, что он всегда считал этот план сумасброднейшим и что до конца не соглашался его принять. Но показание Пестеля, что Муравьев с Бестужевым приняли этот план на с'езде в ноябре 1823 г., отвергнутое ими на очных ставках, было подтверждено князем Волконским.

К. Ф. Рылеев.

„Известно мне, погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
(Исповедь Наливайки).

Когда Рылеев писал исповедь Наливайки, у него жил больной брат мой, Михаил Бестужев *). Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно поразил Михаила.

— Знаешь ли,—сказал он,—какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою? Ты, как будто, хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах?

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении,— сказал Рылеев.—Верь мне, что каж-

*) Также один из участников заговора.

дый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян.

Почти в каждом сочинении Рылеева выливается из его души подобное предвещание. Мысль быть орудием или жертвою начатков свободы наполняла все его существование, составляла единственную цель его жизни. Освобождение отечества или мученичество за свободу для примера будущих поколений были ежеминутным его помышлением; это самоотвержение не было вдохновением одной минуты, но постоянно возрастало вместе с любовью к отечеству, которая, наконец, перешла в страсть — в высокое восторженное чувствование.

Он не скрывал своих предчувствий от друзей и родных. Я был свидетелем прощанья с матерью, нежно его любившею и от‘езжавшею в деревню. Она была очень грустна; ее тревожила мысль, что не увидит более сына, которого, казалось ей, оставляет обреченного на какую-то гибельную судьбу. Со всею материнскою нежностью просила, чтобы он дал ей спокойно закрыть глаза, что она хочет видеть его счастливым и желает умереть с тою же мыслью, что он остается счастливый и после нее.

— Побереги себя, — говорила она, — ты неосторожен в словах и поступках; правительство подозрительно; шпионы его везде подслушивают, а ты как будто поставляешь славой вызывать их внимание.

— Вы напрасно думаете, любезная матушка,—отвечал Рылеев,—что я везде таков же, как перед вами. Моя цель выше той, чтобы только дразнить правительство и доставлять работу его наемникам. Напротив, я скрытен с чужими; мне надобно, чтобы меня оставляли спокойно действовать. Если же я откровенно говорю с друзьями—мы работаем вместе; ежели я не скрываюсь от вас, это от того, что вы более или менее разделяете мои чувствования.

— Милый Кондратий, эта откровенность и убивает меня; она и показывает, что у тебя есть важные замыслы, которые ведут за собою важные последствия. С горестью пред-

вижу, что ты вызываешься умереть не своею смертью, зачем ты открываешь эту ужасную тайну матери?

Глаза ее были полны слез, когда она говорила последния слова.

Рылеев взял ее за руку и начал:

— Матушка, до сих пор я видел, что вы говорили только об образе моих мыслей, и не таил их от вас, но не хотел тревожить, открываясь в цели всей моей жизни, всех моих помышлений. Теперь вижу—вы угадываете, чего я ищу, чего хочу... Мне должно сказать вам, что я член тайного общества, которое хочет ниспровержения деспотизма, счастья России и свободы всех ее детей...

Мать Рылеева побледнела, рука ея охладела в моей, он продолжал:

— Не пугайтесь, милая матушка, выслушайте, и вы успокоитесь. Да, намерение наше страшно для того, кто смотрит на него со стороны и, не вникая в него, не видя прекрасной его цели, примечает одни только ужасы, грозящие каждому из нас. Я служил отечеству как воин, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластия; я желал лучше служить человечеству. Ныне наступил век гражданского мужества,—я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастие соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству—вот будут мои дела. Ели я успею, счастие россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе законного права с властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня— вы будете знать чистоту и святость моих намерений.

Я никогда не видел Рылеева столь красноречивым: глаза его сверкали, лицо горело каким-то необыкновенным для него румянцем.

Мать его, которой он сообщил свой энтуазиазм, улыбалась, но слезы ее не переставали катиться. Она наклонила его голову — благословила; горесть и чувство внутреннего удовольствия смешивались на лице ее — наконец первое взяло верх— она залилась слезами и сказала:

— Все так, но я не переживу тебя...

Все действия жизни Рылеева ознаменованы были печатью любви к отечеству: она появлялась в разных видах: сперва сыновнею привязанностью к родине, потом негодованием к злоупотреблениям, и, наконец, развернулась совершенно в желании ему свободы.

В „Думах“ [1]) его мы видим жаркое желание внушить в других ту же любовь к своей земле, ко всему народному; привязать внимание к деяниям старины, показать, что и Россия богата примерами для подражания, что эти примеры могут равняться с великими образцами древности

В „Сатире на временщика“ Рылеева открывается все его презрение к почестям и власти деспота [2]).

В том положении, в каком была тогда Россия, никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имевший другого определенного звания, кроме принятого им титула *верного царского слуги*. Этот приближенный вельможа под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, незримый никем, вращал всею тягостью дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления.

Где деспотизм управляет, там утеснение — закон: малые угнетаются средними, средние большими. Эти еще высшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. Одни карались за угнетение, другие за жалобы. Все государство трепетало под железною рукою царского любимца. Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей.

В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины; когда назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства.

Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким поражены были жители столицы

---

[1]) Так озаглавлена книга стихов Рылеева.

[2]) См. выше—стихотвор. Рылеева: „Временщику“.

при этих неслыханных звуках правды и укоризны, при этой борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире.

Но он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо; оковы оцепенения пали, мало-по-малу расторглись, и глухой шопот одобрения был наградою юного правдивого поэта. Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самодержавию.

С этого стихотворения началось политическое поприще Рылеева. Пылкость юношеской души, порывы благородного негодования и меткие удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили на него общее внимание.

Уже в России начали чувствовать тягость деспотизма, видеть бедствия, угнетающие отечество, и помышлять о средствах для введения нового, лучшего порядка вещей.

Тайное общество, составленное из нескольких друзей человечества, существовало, и Рылеев был принят в это общество. Здесь порывы его души, болезнь сердца о несчастиях родины и желания для нее лучшего получили надлежащее направление. Пылкий юноша стал осторожным мужем; раздраженный смельчак переменился в скрытного и предприимчивого заговорщика; дерзновенный поэт — в обдуманного стихотворца, который уже не гремел проклятиями на площадях против эфемерных любимцев, но в сочинениях своих желал направлять умы соотчичей к благородной свободе народов.

Декабрист Н. А. Бестужев.

Зверь или машина?

С 27-го ноября, когда узнали о кончине императора Александра I, в Петербурге наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло, как бы затаило дыхание. Театры были закрыты; музыке запрещено играть на разводах; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиды, трезвон колоколов унылый с утра до вечера носился над городом.

Россия присягнула Константину I. Указы подписывались именем его; на монетном дворе чеканились рубли с его изображением; в церквах возглашалось ему многолетие. Со дня на день ждали его самого, но он не приезжал, и по городу ходили слухи. Одни говорили, что отрекся от престола, другие — что согласился, а правда была неизвестна.

Для успокоения столицы об‘явили, что государыня мать получила письмо, в коем его величество обещал вскоре прибыть; потом, что великий князь Михаил Павлович к нему навстречу выехал. Но оба известия оказались ложными.

Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург; братья обменивались письмами, но толку не было.

— Пора бы кончить эти любезности,—ворчали сановники.

— Когда же, наконец, мы узнаем, кто у нас государь?—выходила из терпения императрица Мария Феодоровна.

— На троне лежит у нас гроб,—шептались верноподданные в тихом ужасе.

На другой день, после присяги, в окнах магазинов на Невском, выставлены были портреты нового императора. Прохожие толпились перед окнами. На портрете он был дурен, а в действительности—еще хуже. Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза на выкате; насуплен-

ные брови, торчащие густыми пучками белобрысых волос; такие же волосы на переносице; в минуты гнева вздымались они, щетинились; руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы: казалось, мог ходить на четвереньках. И весь был похож на обезьяну, огромную, человекоподобную. Вспоминали, как жаловалась бабушка, императрица Екатерина Великая, на безчинное и безчестное поведение внучка: „Везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойностью, что я того и смотрю, что его где ни есть прибьют. Не понимаю, откудова в нем вселился такой подлый *санкюлотизм*, пред всеми унижающий“.

Письма свои к учителю, французу Лагарпу, подписывал: „L'âne Constantin“. Но был не глуп, а только нарочно „валял дурака“, чтоб оставили его в покое, не лезли с короною. „Деспотический вихрь“,—называли его приближенные. Однажды на смотру лошадь его испугалась, шарахнулась. Выхватив палаш, он избил ее так, что она едва не издохла. Лошадью будет Россия, а Константин — бешеным всадником. Надеялись, впрочем, что не захочет царствовать, по „отвращению природному“.

— Меня задушат, как задушили отца,—говаривал.— Знаю вас, канальи, знаю!—злобно усмехался.—Теперь кричите „ура“, а если потащат меня на лобное место и спросят: „любо ли?“— вы также закричите „любо! любо!“.

Рассказывали, что, когда прочел манифест о вступлении своем на престол, с ним сделалось дурно, велел пустить себе кровь.

— Что они, дурачье, вербовать что ли вздумали в цари!—кричал в бешенстве.— Не пойду! Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!

Когда в Петербурге узнали об этом, все возмутились.

— Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью,— говорили они.

— Почему нельзя?— возражали другие.— В России все можно. Мы трусы. Погрози нам только гауптвахтою — и смиримся.

— Кому бараны достанутся?—держали заклад шутники.

— Какие бараны?

— Мы. Разве нас не гонят от одной присяги к другой, как стадо баранов?

Решали, кто лучше — Константин или Николай?

Император Павел I назначил пятимесячного младенца Николая шефом лейб-гвардии конного полка в чине генерал-лейтенанта. Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан и махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков. Воспитатель великих князей, дядька Ламсдорф, бил мальчиков по голове ружейным шомполом так, что они почти лишались чувств. „Бог ему судья за бедное образование, нами полученное“, — говаривал впоследствии сам Николай.

Никогда не готовился быть наследником; лет до двадцати не имел никаких служебных занятий, и все его знакомство с светом было в дворцовых передних и в секретарской комнате. „Бешен, как Павел, и злопамятен, как Александр“. Правда, умен; но ума-то его и боялись пуще всего: чем умнее, тем злее.

В совершенстве усвоил прусский военный устав.

Константин — зверь, а Николай — машина. Что лучше, машина или зверь?

Д. С. Мережковский.

Междуцарствие.

Еще при жизни Александра Константин более или менее добровольно отказался от своего права на престол, вследствие чего оно перешло к Николаю. Но об этой сделке знали, кроме заинтересованных лиц, лишь очень немногие посвященные, между тем как вся остальная нечиновная и даже чиновная Россия продолжала считать наследником Константина. Когда в Петербург пришло (27-го нояб. ст. ст.) известие о смерти Александра в Таганроге, Николай тотчас после панихиды, отслуженной по Александре в придворной церкви, отвел в сторону петербургского военного губернатора Милорадовича и сказал ему, что по духовному завещанию покойного императора престол принадлежит ему, Николаю. На это Милорадович ответил, что в России есть закон о престолонаследии, повинуясь которому он уже послал войскам приказание присягать Константину. Николай не мог сломить твердость Милорадовича и увидел себя вынужденным присягнуть своему старшему брату. За ним присягнул Михаил Николаевич и все находившиеся во дворце сановники. Таким образом 27-го ноября 1825 года русским императором сделался Константин.

Но, присягнув своему брату, Николай не считал своего дела проигранным. Он отправил к Константину, бывшему тогда в Варшаве, послов, которые должны были напомнить ему об его отречении от престола. По всему видно, что бывший „цесаревич“ принял это напоминание с большим неудовольствием. Он не согласился всенародно об‘явить о своем отказе от императорского трона. Но вместе с тем он не решался и оспаривать права Николая. Он сидел в своем кабинете мрачный и растерянный, ничего не предпринимая ни в том, ни в другом смысле. В результате получилось нечто в роде междуцарствия, продолжавшегося 16 дней и вызвавшего всеобщее недоумение.

Сибариты высшего петербургского общества, „хладные трупы“ и „бессмысленные дети“, равнодушные к судьбам

своей страны, только острили по поводу этой нелепой неурядицы, спрашивая друг друга, *продадутся ли* и по какой цене *продадутся бараны*. Но *„Союз благоденствия“* не мог оставаться спокойным. У Рылеева ежедневно собирались на совещание находившиеся тогда в Петербурге члены тайного общества: князь Трубецкой и Оболенский, братья Бестужевы, Глинка, Булатов и другие. И с каждым новым совещанием для них все яснее становилась необходимость воспользоваться междуцарствием в интересах своего дела *). Князь Трубецкой был выбран *диктатором*, и ему предоставлена была власть действовать в решительную минуту по своему усмотрению и распоряжаться всеми силами общества. Все понимали, что развязка не заставит себя долго ждать.

Одинадцатого декабря на собрании у Рылеева решено было не присягать Николаю Павловичу, и подняв гвардейские полки, вести их на Сенатскую площадь.

„В надежде на успех,— рассказывает И. Пущин,— был подготовлен манифест, который Сенат должен был обнародовать от себя и которым созывалась Земская Дума, долженствовавшая состоять из представителей всей земли русской. Этой Земской Думе предоставлялось определить, какой порядок правления наиболее удобен для России. Пока соберется Дума, Сенат должен был назначить временными правителями членов государственного совета: Сперанского, Мордвинова и сенатора И. М. Муравьева-Апостола. При временном правительстве должен был находиться один избранный член тайного общества и безослабно следить за всеми действиями правительства.

На следующий день, двенадцатого числа, Рылеев узнал, что тайное общество было предано одним из его членов, Я. Ростовцевым, который счел долгом своей „с о в е с т и“ известить Николая об угрожавшей ему опасности. Таким образом последние корабли оказались сожженными; заговорщики не могли бы уже отступить, если бы даже и захотели этого. Но они не думали об отступлении.

Г. В. Плеханов.

*) „Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай“—писал Пущин в Москву Семенову.

Собрание заговорщиков.

В ночь с 13 на 14 декабря, в маленьких комнатках Рылеева, в последний раз собрались заговорщики. Здесь, ночью, так же как днем, толпились они, приходили и уходили. Но уже не кричали, не спорили, как давеча; речи были тихи, лица торжественны: все чувствовали, что наступила минута решительная.

Пожилой человек, в потертом зеленом фраке, высоком белом галстухе и черепаховых очках, с лицом как будто сухим и жестким, а на самом деле, восторженно-мечтательным, отставной чиновник канцелярии Московского генерал-губернатора, барон Владимир Иванович Штейнгель, один из старейших членов Северного Общества, читал невнятно и сбивчиво, по черновой измаранной:

— В манифесте от Сената об‘является:

„Уничтожение бывшего правления.

„Учреждение Временного—до установления постоянного.

„Свободное тиснение и уничтожение цензуры.

„Свободное исповедание всех вер.

„Равенство всех сословий перед законом.

„Уничтожение крепостного состояния.

„Гласность судов.

„Введение присяжных.

„Уничтожение постоянной армии“.

— Ну, а как же мы все это сделаем?—спросил кто-то.

— Очень просто,—ответил Штейнгель.—Заставим Синод и Сенат об‘явить Верховную Думу Тайного Общества Временным Правительством, облеченным властью неограниченной; раздадим министерства, армии, корпуса и прочие начальства членам Общества и приступим к избранию народных представителей, кои долженствуют утвердить новый порядок правления по всему государству Российскому...

Каждый, кто входил в эти маленькие комнатки,—сразу пьянел, точно крепкое вино бросалось ему в голову; дух захватывало от чувства могущества: что захотят, то и сделают; как решат, так и будет.

„Ничего не будет,—думал Голицын.—А, может быть, и будет? Безумцы, лунатики, планщики, а, может быть, и пророки? Может быть, все это—не исполнение, а знаменье; зарница, а не молния? Но где была зарница, там будет и молния“.

— Город Нижний-Новгород, под именем *Славянск*, будет новой столицей России,—об‘явил Штейнгель.

Голицын, прищурив глаза, смотрел, как восковые свечи тускло мерцают в облаках табачного дыма, и ему казалось, что он уже видит золотые маковки Славянска, Града Грядущего, Сиона русской вольности.

Инженерный подполковник Батенков, сутулый, костлявый, неповоротливый, медлительный, говорил с трудом, точно тяжелые камни ворочал; курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось недостающие слова из нее высасывал. Герой Двенадцатого года, потерявший в сраженьи при Монмирале команду с пушками „от чрезмерной храбрости“,—был мастером на рукоделье женское, любил вышивать по канве. И теперь тоже по канве вышивал—мечтал о своем участии во Временном Правительстве, вместе со Сперанским, генералом Ермоловым, архиепископом Филаретом и Пестелем.

Предлагал „обратить военные поселения Аракчеева в национальную гвардию—guarde nationale, и передать Петропавловскую крепость муниципалитету“, поместив в оной городовой совет с городовою стражею“.

— У нас в России ничего не стоит сделать революцию: только об‘явить Сенату да послать печатные указы, то присягнут без затруднения. Или взять немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку,—и можно бы произвести славных дел множество!

— По крайней мере, о нас будет страничка в истории!—воскликнул драгунский штабс-капитан Александр Бестужев и, подняв глаза к небу, прибавил чувствительно:

— Боже мой, неужели отечество не усыновит нас?..

— Ну, уж это лучше оставьте,—проговорил Оболенский сухо и поморщился.

Лейб-гренадерский полковник Булатов, хорошенький, тоненький, беленький, похожий на форфоровую куколку, с голубыми удивленными глазками, с удивленным и как будто немного полоумным личиком, слушал всех с одинаковым вниманием, словно хотел что-то понять и не мог.

— Одно только скажу вам, друзья мои: если я буду в действии, то у нас явятся Бруты, а, может быть и превзойдут тех революционистов,— вдруг начал и не кончил, сконфузился.

— Какой же план восстания?—спросил Голицын.

— Наш план такой,—ответил Рылеев.—Говорить против присяги, кричать по полкам, что Константина принудили, и что отказ по письму недостаточен, пусть манифестом об'явит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, вести их прямо на площадь.

— А много ли будет полков? — полюбопытствовал Батенков.

— А вот считайте: Измайловский весь, Финляндского батальон, московцев две роты, лейб-гренадер тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии часть, а также артиллерии.

— Не надо артиллерии, холодным оружием справимся!—опять выскочил Булатов.

— Успех несомнителен! Успех несомнителен!—закричали все.

— Ну, а что же мы будем делать на площади?— спросил Оболенский.

— Представим Сенату манифест о конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию.

— Легко сказать: арестуем. Ну, если убегут? Дворец велик и выходов в нем множество.

— Недурно бы достать план,—посоветовал Батенков.

— Царская фамилия не иголка: когда дело дойдет до ареста, не спрячется,—рассмеялся Бестужев.

— Да ведь, мы и не думаем, чтобы одним занятием дворца успели кончить все,—продолжал Рылеев.—Но если

государь бежит со всею фамилиею, довольно и этого: тогда вся гвардия пристанет к нам. Надобно нанесть первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию. Помните, друзья, успех революции в одном слове: дерзай!— воскликнул он и, подобно развеваемому ветром пламени, весь трепетностремительный, легкий, летящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как никогда.

— Вы, молодые люди, о русском солдате никакого понятия не имеете, а я его знаю вдоль и поперек,—заговорил штабс-капитан Якубович, худощавый, смуглолицый, похожий на цыгана, с черной повязкой на голове простреленной, „кавказский герой“.—Кабаки разбить, вот с чего надо начать, а когда перепьются, как следует,—солдаты в штыки, мужики в топоры,—пусть пограбят маленько; да красного петуха пустить, поджечь город с четырех концов, чтоб и праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви, да крестным ходом во дворец, захватить царя, огласить республику—и дело с концом!

— Любо! Любо! Вот это по-нашему! К черту всех филантропишек!—закричал, забушевал князь Щепин.— Скорее! Скорее! Утра ждать нечего! Сию же минуту, немедленно!

Вскочил—и все повскакали, как будто и правда готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем.

— Что вы, господа, помилуйте! Куда же теперь, ночью? До об'явления присяги солдаты не двинутся. И разве не видите, Якубович шутит?

— Нет, не шучу. А впрочем, если вам угодно за шутку принять...—усмехнулся Якубович двусмысленно.

— Нет, друзья, подвизаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкие. Для чистого дела чистые руки нужны. Да не осквернится же святое пламя вольности!—заговорил опять Рылеев и, мало-по-малу, все приходили в себя, утихали, опоминались.

В уголку, у печки, за отдельным столиком, уставленным бутылками, сидели Кюхельбекер и Пущин.

Коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или по-просту Кюхля, русский немец, издатель журнала

„Мнемозина“, молодой человек, белобрысый, пучеглазый долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется „караморой“, — по собственному признанию „ничего не делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершенствовании рода человеческого“; не был даже членом Тайного Общества, зато участвовал в ином тайном обществе — московских „любомудров“, поклонников Шеллинга.

Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старинный собутыльник, „ветреный мудрец“, по слову поэта, имевший слабость к вину, картам и женщинам, покинул блестящую военную карьеру и поступил маленьким чиновником в уголовный департамент Московского Надворного Суда, чтобы доказать примером что можно приносить пользу отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятия. „Маремьяна - старица“, „Мать-Софья — о всех сохнет“ — эти лицейские прозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равной ко всем. Какой-нибудь спор двух старых лавочниц у Иверской о мотке ниток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности.

Кюхельбекер с Пущиным вели беседу о натур-философии.

Отставной армейский поручик Каховский, с голодным тощим лицом, тяжелым-тяжелым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и глазами жалобными, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, расхаживал из залы в кабинет, все по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, туда и назад, однообразно-утомительно, как маятник.

—Будет вам шляться, Каховский,—окликнул его Пущин.

Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить.

— Вещественное и отвлеченное одно и то же, только в двойственной форме. Идея сего совершенного единства и есть Абсолют. Искомое условие всех условий — Безуслов. Ну, теперь поняли? — заключил Кюхельбекер.

— Ничего не понял. И какой же ты, право, Кюхля, удивительный! В этакую минуту думаешь о чем! Ну, а завтра на площадь пойдешь?

Каховский вдруг остановился и прислушался.

— Пойду.

— И стрелять будешь?

— Буду.

— А как же твой абсолют?

— Мой абсолют совершенно с этим согласен. Брань вечная должна существовать между добром и злом. Познанье и добродетель — одно и то же. Познанье есть жизнь, и жизнь есть познанье. Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить!—воскликнул Кюхля и, неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлевший светом внутренним, был почти прекрасен в эту минуту.

— Ах, ты мой Абсолютик, Безусловик маленький! Цапля ты моя долговязая! — рассмеялся Пущин и полез к нему целоваться.

— Напрасно смеяться изволите, — вдруг вмешался Каховский. — Он говорит самое нужное. Все пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь! — наклонившись к Пущину, поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим; потом выпрямился, круто повернулся на каблуках и опять зашагал, зашатался, как маятник.

Было поздно. Казачок Филька давно уже храпел, неестественно скорчившись на жесткой выпуклой крышке платяного ящика в прихожей, под вешалкой. Гости расходились. В кабинете Рылеева собралось несколько человек для последнего сговора.

— А, ведь, мы, господа, так и не решили главного, — сказал Якубович.

— Что же главное? — спросил Рылеев.

— Будто не знаете? Что делать с царем и с царской фамилией, вот главное,— посмотрел на него Якубович пристально.

Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все на него смотрят и ждут.

— Захватить и задержать их под стражею до с'езда Великого Собора, который должен решить, кому царствовать и на каких условиях, — ответил он, наконец.

— Под стражею? — покачал головою Якубович сомнительно. — А кто устережет царя? Неужели вы думаете, что приставленные к нему часовые не оробеют от одного взгляда его? Нет, Рылеев, арестованье государя произвело бы неминуемую гибель нашу или гибель России — войну междоусобную.

— Ну, а вы-то сами, Якубович, как думаете? — вдруг заговорил все время молчавший Голицын. Давно уж злил его насмешливый вид Якубовича. „Дразнит, хвастает, а сам, должно быть, трусит!"

— Да я что ж? Я как все, — увильнул Якубович.

— Нет, отвечайте прямо. Вы задали вопрос, вы и отвечайте, — все больше злился Голицын.

— Извольте. Ну, вот, господа, если нет других средств, нас тут шесть человек...

Каховский, продолжая расхаживать, вошел в кабинет и, дойдя до окна, повернулся, чтобы итти назад, но вдруг опять остановился и прислушался.

— Нет, семь, — продолжал Якубович, взглянул на Каховского. — Метнемте жребий: кому достанется, — должен убить царя или сам будет убит.

„А, может быть, и не хвастает", подумал Голицын, и вспомнились ему слова Рылеева: „Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового ею жертвовать во всяком случае".

— Ну, что ж, господа, согласны? — обвел Якубович всех глазами с усмешкой.

Все молчали.

— А вы думаете, что так легко рука может подняться на государя? — проговорил, наконец, Батенков.

— Нет, не думаю. Покуситься на жизнь государя не то, что на жизнь простого человека...

— На священную особу государя императора, — опять разозлился Голицын. Но Якубович не понял.

— Вот, вот, оно самое! — продолжал он. — Священная особа, помазанник божий! Это у нас у всех в крови. Революционисты, безбожники, а все-таки русские люди, крещеные. Не подлецы же, не трусы, — все умрем за благо отечества. Ну, а как до царя дойдет, рука не подымается, сердце откажет. В сердце-то царя убить трудней, чем на площади...

— Цыц! Молчать! — вдруг закричал Каховский так неожиданно, что все оглянулись на него с удивлением.

— Что с вами, Каховский? — удивился Якубович так, что даже не обиделся. — На кого вы кричите?

— На тебя, на тебя! Молчать! Не сметь говорить об этом! Смотри у меня! — погрозил он ему кулаком и хотел еще что-то прибавить, но только рукой махнул и проворчал себе под нос: — О, болтуны проклятые! — повернулся и, как ни в чем не бывало, пошел назад все по тому же пути, из кабинета в залу. Опять зашагал, зашатался, как маятник, с лицом, как у сонного.

„Лунатик", подумал Голицын.

— Да что он рехнулся, что ли? — вскочил Якубович в бешенстве.

Рылеев удержал его за руку.

— Оставьте его. Разве не видите, он сам не знает что говорит.

В эту минуту Каховский опять вошел в кабинет. Якубович вгляделся в него и плюнул.

— Тьфу! Сумасшедший! Берегитесь, Рылеев, он вам беды наделает!

— Ошибаетесь, Якубович, — проговорил Голицын спокойно. — Каховский в полном рассудке. А сказал он то, что надо было сказать.

— Что надо? Что надо? Да говорите толком, чорт бы вас побрал!

— Довольно говорили. Много скажешь — мало сделаешь.

— Да уж и вы, Голицын, не рехнулись ли?

— Послушайте, сударь, я не охотник до ссор. Но если вы непременно желаете...

— Да будет вам! Нашли время ссориться. Эх, господа, как вам не стыдно! — проговорил Рылеев с таким горьким упреком, что оба сразу опомнились.

— Ваша правда, Рылеев, — сказал Голицын. — Утро вечера мудренее. Затрашний день нас всех рассудит. Ну, а теперь пора по домам!

Он встал, и все — за ним. Хозяин проводил гостей в прихожую. Здесь, по русскому обычаю, уже стоя в шинелях и шубах, опять разговорились. Храпевшего Филку растолкали и выслали в кухню, чтоб не мешал.

Такое чувство было у всех, что, после давешнего разговора о цареубийстве, все снова смешалось и спуталось, — ничего не решили и никогда не решат.

— Принятые меры весьма неточны и неопределительны, — начал Батенков.

— Да вед, нельзя же делать репетицию, — заметил Бестужев.

— Войска выйдут на площадь, а потом — что удастся. Будем действовать по обстоятельствам, — заключил Рылеев.

— Теперь рассуждать нечего, наше дело слушаться приказов начальника, — потвердил Бестужев. — А, кстати, где же он сам, начальник-то наш? Что он все прячется?

— Трубецкой сегодня не очень здоров, — об'яснил Рылеев.

— А завтра... все-таки будет завтра на площади?

Страх пробежал по лицам у всех.

— Что вы, Бестужев, помилуйте! — возмутился Рылеев так искренно, что все успокоились.

— Ну, господа, теперь бог управит все остальное. С богом! С богом! — сказал Оболенский.

Якубович, Бестужев и Батенков вышли вместе. Голицын и Оболенский стояли в прихожей, прощаясь с Рылеевым.

Каховский, все еще ходивший по зале, увидев, наконец, что все расходятся, тоже вышел в прихожую и стал надевать шинель. Лицо у него было все такое же сонное — лицо „лунатика“.

Рылеев подошел к нему.

— Что с тобою, Каховский? Нездоровится?

— Нет, здоров. Прощай.

Он пожал ему руку, повернулся и сделал шаг к дверям.

— Постой, мне надо тебе два слова сказать, — остановил его Рылеев.

Каховский поморщился.

— Ох, еще говорить! Зачем?

— Ну, можно и без слов.

Рылеев отвел его в сторону, вынул что-то из бокового кармана и потихоньку сунул ему в руку.

— Что это? — удивился Каховский и поднял руку. В ней был кинжал.

— Забыл? — спросил Рылеев.

— Нет, помню, — ответил Каховский. — Ну, что ж, спасибо за честь!

Это был знак, давно между ними условленный: получивший кинжал избирается Верховною Думою Тайного Общества в цареубийцы.

Рылеев положил ему руки на плечи и заговорил, торжественно; видно было, что слова заранее обдуманы сочинены, может быть, для потомства: „Будет и о нас страничка в истории“, как давеча сказал Бестужев.

— Любезный друг, ты сир на сей земле. Я знаю твое самоотвержение. Ты можешь быть полезней, чем на площади: убей царя.

Рылеев хотел его обнять, но Каховский отстранился.

— Как же это сделать?—спросил он спокойно, как будто задумчиво.

— Надень офицерский мундир и рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Или на площади когда выедет,—сказал Рылеев.

Что-то медленно-медлено открывалось в лице Каховского, как у человека, который хочет и не может проснуться; наконец, открылось. Сознание блеснуло в глазах, как будто только теперь он понял, с кем и о чем говорит. Лунатик, проснулся.

— Ну, ладно, — проговорил, бледнея, но все так же спокойно-задумчиво. — Я — его, а ты — всех? Ты-то всех решил?

— Зачем же всех?—прошептал Рылеев, тоже бледнея.

— Как зачем? Да ведь ты сам говорил: одного мало. надо всех?

Рылеев этого никогда не говорил, даже думать об этом боялся.

Он молчал. А Каховский все больше бледнел и как будто впивался в него горящим взором.

— Ну, что ж ты молчишь? Говори. Аль и сказать нельзя? Сказать нельзя, а сделать можно?

Вдруг лицо его исказилось, рот скривился в усмешку, надменно оттопыренная нижняя губа запрыгала.

— Ну, спасибо за честь! Лучше меня никого не нашлось, так и я пригодился? А вы-то все что же? Аль в крови не охота пачкаться? Ну, еще бы! Честные люди, благородные! А я — меня только свистни! Злодей обреченный! Отверженное лицо! Низкое орудие убийства! Книжал в руках твоих!

— Что ты, что ты, Каховский! Никто не принуждает тебя. Ты же сам хотел...

— Да, сам! Как сам захочу, так и сделаю! Пожертвую собой для отечества, но не для тебя, не для Общества. Ступенькой никому не лягу под ноги. О, низость, низость! Готовил меня быть кинжалом в руках твоих, потерял рассудок, склоняя меня. Думал, что очень тонок, а так был груб, что я не знаю, какой бы дурак не понял тебя! Наточил кинжал, но берегись — уколешься!

— Петя, голубчик, что ты говоришь! — сложил и протянул к нему руку Рылеев с мольбою.—Да разве мы не все вместе? Разве ты не с нами?

— Не с вами, не с вами! Никогда я не был и не буду с вами! Один! Один! Один!

Больше не мог говорить — задыхался. Весь дрожал, как в припадке. Лицо потемнело и сделалось страшным, как у одержимого.

— Вот тебе кинжал твой! И если ты еще когда-нибудь осмелишься,— я тебя!.. — одной рукой занес кинжал над головой Рылеева, другой — схватил его за ворот. Оболенский и Голицын хотели кинуться на помощь к Рылееву. Но Каховский отбросил кинжал, — ударившись об пол, клинок

зазвенел, — оттолкнул Рылеева с такою силою, что он едва не упал, и выбежал на лестницу.

Одно мгновение Рылеев стоял ошеломленный. Потом выбежал за ним и, нагнувшись через перила лестницы, позвал его с мольбой отчаянной;

— Каховский! Каховский! Каховский!

Д. С. Мережковский.

Отдел IV.

Восстание.



На Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

План восстания в Петербурге.

Этим-то временем, когда Россия в течение двух недель не знала, кто будет ее императором, хотели воспользоваться петербургские члены тайного общества, под председательством пылкого восторженного поэта и патриота Рылеева и полковника С. П. Трубецкого, человека добродетельного, умного, образованного, всеми любимого. Мягкосердечие и легкомысленный характер делали его неспособным к принятию на себя диктаторской власти ему предложенной, которой он не сумел от себя отклонить.

Тайное общество было уверено, что гвардейские полки, имея столько причин не любить великого князя Николая за жестокое обращение с офицерами и солдатами, за беспрерывные мелочные придирки по службе, будут действовать за одно с тайным обществом и тем более, что во всей гвардии были единомысленные его члены.

План состоял в том, чтобы гвардия воспротивилась воцарению великого князя Николая; тогда власть оставалась бы в руках тайного общества, и оно заставило бы Сенат, вместе с Синодом, назначить временное правительство, для составления которого имело в виду двух, всеми уважаемых сановников, известных своим свободомыслием и патриотизмом: адмирала Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского. Обоим им известно было существование тайного общества и сокровенная его цель; они знали лично некоторых членов и удостаивали их своего благорасположения. Первым действием временного правительства было-бы созвание представителей России от всех свободных сословий, которые бы и определили будущую судьбу ее и образ правления.

13-го декабря, казалось, все было приготовлено к решительному действию: общество расчитывало на гвардейские полки, в которых было много членов, ручавшихся за успех.

Если бы отряд, вышедший на Сенатскую площадь имел предприимчивого, отважного начальника и вместо того, чтобы оставаться в бездействии на Сенатской площади, он смело повел-бы его до прибытия гвардейских полков к дворцу, то мог-бы легко захватить в плен всю императорскую фамилию. А имея в своих руках таких заложников, окончательная победа могла бы остаться на стороне тайного общества.

М. А. Фонвизин.

Отрывок

(из поэмы „Войнаровский").

Ты видишь сам, как я страдаю,
Как жизнь в неволе тяжела;
Мне б смерть отрадою была:
Но жизнь и смерть я презираю...
Мне б надо жить: еще во мне
Горит любовь к родной стране;
Еще, быть может, друг народа
Спасет несчастных земляков,
И, — достояние отцов, —
Воскреснет прежняя свобода!..

К. Рылеев.



Николай Александрович БЕСТУЖЕВ.

Утро 14 декабря.

Рано по утру 14-го числа я был уже у Рылеева, он собирался ехать со двора.

— Я дожидал тебя, — сказал он, — что ты намерен делать?

— Ехать, по условию, в гвардейский экипаж, может быть там мое присутствие будет к чему-нибудь годно.

— Это хорошо. Сейчас был у меня Каховский и дал нам с твоим братом Александром слово об исполнении своего обещания, а мы сказали ему, на всякий случай, что с сей поры мы его не знаем, и он нас не знает, и чтобы он делал свое дело, как умеет. Я же с своей стороны еду в Финляндский и лейб-гренадерский полки, и если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках.

— Как, во фраке?

— Да, а может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.

— Я тебе этого не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.

Рылеев задумался.

— В самом деле это слишком романически,—сказал он,—итак, просто, без излишеств, без затей. Может быть,— продолжал он,—мечты наши сбудутся, но нет, вернее, гораздо вернее, что мы погибнем.

Он вздрогнул, крепко обнял меня, мы простились и пошли.

Но здесь ожидала нас трудная сцена. Жена его выбежала к нам навстречу, и, когда я хотел с нею поздороваться,

она схватила мою руку и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его — я знаю что он идет на погибель.

Кто из моих товарищей испытал чувствования, одушевлявшие каждого из нас в эти незабвенные дни, тот может представить, что напряженная душа готова была ко всем пожертвованиям, и потому я уговаривал ее такими словами, как будто супруга и мать должна была понимать мои чувства, но это было холодно для ее сердца. Рылеев, подобно мне, старался успокоить ее, что он возвратится скоро, что в намерениях его нет ничего опасного. Она не слушала нас, но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших чёрных ее глаз попеременно устремлялся на обоих— я не мог вынести этого взгляда и смутился, Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленьная девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних об'ятий и убежал.

Здесь мы расстались.

Когда я пришел на площадь с гвардейским экипажем, уже было поздно. Рылеев приветствовал меня первым целованием свободы и после некоторых об'яснений отвел меня на сторону и сказал:

— Предсказания наше сбывается, последние минуты наши близки, — но это минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Это были последние слова Рылеева, которые мне были сказаны. Остальная развязка нашей политической драмы всем известна.

Декабрист Н. Бестужев.

На Сенатской площади.

— Наконец настало роковое 14-е декабря. Это было сумрачное, декабрьское петербугское утро, с 8° мороза. До девяти часов весь правительствующий сенат был уже во дворце. Тут и во всех полках гвардии производилась присяга. Беспрестанно скакали гонцы во дворец с донесениями, где как шло дело. Казалось все тихо. Часов в 10 на Гороховом проспекте вдруг раздался барабанный бой и часто повторяемое „ура!“ Колонна Московского полка с знаменем, предводимая штабс-капитаном князем Щепиным-Ростовским и двумя Бестужевыми, вышла на Адмиралтейскую площадь и повернула к сенату, где построилась в каре. Вскоре к ней быстро примкнул Гвардейский экипаж, увлеченный Арбузовым, и потом баталион лейб-гренадеров, приведенный ад'ютантом Пановым и поручиком Сутгофом. Сбежалось много простого народа, и тотчас разобрали поленицу дров, которая стояла у заплота, окружающего постройки Исаакиевского собора. Адмиралтейский бульвар наполнился зрителями. Тотчас уже стало известно, что этот выход на площадь ознаменовался кровопролитием. Князь Щепин-Ростовский, любимый в Московском полку, хотя и не принадлежавший явно к обществу, но недовольный и знавший, что готовится восстание против великого князя Николая, успел внушить солдатам, что их обманывают, что они обязаны защищать присягу, принесенную Константину, и потому должны идти к сенату. Генералы Шеншин и Фредерикс и полковник Хвощинский хотели их переуверить и остановить. Он зарубил первых и ранил саблею последнего, равно как одного унтер-офицера и одного гренадера, хотевшего не дать знамя и тем увлечь солдат. По счастию они остались живы.

Первою жертвою пал вскоре граф Милорадович *), невредимый в столь многих боях. Едва успели инсургенты построиться в каре, как он показался скачущим из дворца в парных санях, стоя, в одном мундире и в голубой ленте. Слышно было с бульвара, как он держась левою рукою за плечо кучера и показывая правою, приказывал ему „об‘езжай церковь и направо к казармам“. Не прошло трех минут, как он вернулся верхом перед каре и стал убеждать солдат повиноваться и присягнуть новому императору. Вдруг раздался выстрел, граф замотался, шляпа слетела с него, он припал к луке, и в таком положении лошадь донесла его до квартиры того офицера, которому принадлежала. Увещая солдат с самонадеянностью стараго *„отца-командира“*, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему. Один из членов тайного общества, князь Оболенский, видя, что такая речь может подействовать, выйдя из каре, убеждал графа от‘ехать прочь, иначе угрожал опасностью. Заметя, что граф не обращает на это внимания, он нанес ему штыком легкую рану в бок. В это время граф сделал вольт-фас, а Каховский пустил в него из пистолета роковую пулю, накануне вылитую. Когда у казармы сняли его с лошади и внесли в упомянутую квартиру офицера, он имел последнее утешение прочитать собственноручную записку нового царя с из‘явлением сожаления — и в 4-м часу дня его уже не существовало.

Тут выяснилась вполне неорганизованность восстания, которая обрекала их на бездействие Не имея сил идти вперед, они увидели, что нет уже спасения назади. Жребий был брошен. Диктатор к ним не являлся. В каре было разногласие. Оставалось одно, стоять, обороняться и ждать развязки от судьбы. Они это сделали.

Между тем, по повелениям нового императора, мгновенно собрались колонны верных ему войск к дворцу, не взирая на убеждения императрицы, ни на представления

*) Петербургский генерал-губернатор.

усердных предостерегателей, царь вышел держа на руках 7-ми-летнего наследника и вверил его охранению преображенцев. Эта сцена произвела полный эффект. Царь сел потом на белого коня и выехал перед первым взводом, подвинул колонны от экзерцир-гауза бульвара. В это время инсургенты минутно были польщены приближением Финляндского полка, симпатии которого еще доверяли. Полк этот шел по Исаакиевскому мосту. Его вели к прочим присягнувшим, но командир 1-го взвода барон Розен, придя за половину моста, скомандовал, *стой!* Полк весь остановился, и ничто уже до конца драмы, сдвинуть его не могло. Та только часть, что не взошла на мост, перешла по льду, на Английскую набережную, и тут примкнула к войскам, обошедшим инсургентов со стороны Крюкова канала.

Вскоре после того, как Николай выехал на Адмиралтейскую площадь, к нему подошел с военным респектом статный драгунский офицер, которого чело было под шляпою повязано черным платком, и после нескольких слов пошел в каре; но скоро возвратился ни с чем. Он вызвался уговорить *бунтовщиков*, и получил один оскорбительный упрек. Тут же по повелению Николая был арестован, — и понес общую участь осужденных. После него под'езжал к инсургентам генерал Воинов, в которого Вильгельм Кюхельбекер, поэт — издатель журнала „Мнемозина", бывший тогда в каре, сделал выстрел из пистолета, и тем заставил его удалиться. К лейб-гренадерам явился полк. Стюрлер, и тот же Каховский ранил его из пистолета.—Наконец под'езжал сам Вел. князь Михаил—и тоже без успеха: ему отвечали, что хотят наконец царствования законов. И с этим поднятый на него пистолет, рукою того же Кюхельбекера, заставил его удалиться. Пистолет был заряжен.

После этой неудачи, из временно устроенной в Адмиралтейских зданиях Исаакиевской церкви, вышел Серафим— митрополит в полном облачении, со крестом в преднесении хоругвей. Подошел к каре, он начал увещание. К нему вышел другой Кюхельбекер, брат того, который заставил удалиться вел. князя Михаила Павловича. Моряк и лютеранин, он не знал высоких титлов православного *смирения*,

и потому сказал просто, но с убеждением: „отойдите, *батюшка*, не ваше дело вмешиваться в это дело“.

Когда таким образом совершился весь процесс укрощения *мирными средствами*, приступили к действию оружием. Генерал Орлов дважды пускался со своими конно-гвардейцами в атаку: но встречный огонь опрокидывал нападения. Не победя каре, он однакож завоевал этим целое фиктивное графство. Николай передвигая медленно свои колонны, находился уже ближе середины Адмиралтейства. На северо-восточном углу Адмиралтейского бульвара появилось орудие Гвардейской Артиллерии. Командующий ими генерал Сухозонет, под‘ехал к каре и кричал, чтобы положили ружья, иначе будет стрелять картечью. В него самого прицелились ружьем, но из каре послышался презрительно повелительный голос. „Не троньте этого... он не стоит пули“. Это естественно оскорбило его до чрезвычайности. Отскакав к батарее, он приказал сделать залп холостыми зарядами: но не подействовало! Тогда засвистали картечи; тут все дрогнуло и рассыпалось в разные стороны, были павшие. Можно было этим уже и ограничиться, но Сухозонет сделал еще несколько выстрелов, вдоль узкого Галерного переулка и поперек Невы, к академии художеств, куда бежали более из толпы любопытных!

Так обагрилось кровью и это восшествие на престол.

Войска были распущены. Исаакиевская и Петровская площади обставлены ведетами. Разложены были многие огни, при свете которых всю ночь убирали раненых и убитых, и обмывали с площади пролитую кровь. Но со страниц неумолимой истории пятна этого рода невыводимы. Все делалось втайне, и подлинное число лишившихся жизни и раненых осталось неизвестным. Молва, как обыкновенно, присвояла право на преувеличение. Тела бросали в проруби: утверждали, что многие утоплены полуживыми.

Декабрист *В. И. Штейнгель.*



На Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Восстание или манифестация?

Действия заговорщиков в день четырнадцатого декабря с точки зрения собственно боевой целесообразности вряд ли могут выдержать даже снисходительную критику. Правда, много замешательства внесено было в них странным поведением Трубецкого, который не только не исполнил своей обязанности предводителя восстания, но даже не явился на Сенатскую площадь. Но уже одно то обстоятельство, что заговорщики, не решаясь действовать без его приказаний, ждали его до самого вечера в виду войск, оставшихся верными Николаю, как будто показывает, что они мало были расположены к наступательным действиям. Подобное же впечатление производят и многие другие происшествия как этого, так и предыдущего дня. По словам Пущина, Каховский „дал слово Рылееву, если Николай Павлович выедет перед войсками, нанести ему удар". Это не было сделано. Почему? Пущин об'ясняет это тем, что Александр Бестужев после, наедине с Каховским, уговорил его не пытаться исполнить данное им Рылееву обещание. Чем руководствовался А. Бестужев, отговаривая Каховского? И почему уступил его настояниям Каховский, не поколебавшийся поднять руку на Милорадовича?—Далее. На последнем собрании у Рылеева, вечером 13-го декабря, решено было, что на другой день утром А. Бестужев и Якубович, выведя из казарм Московский полк, пойдут с ним в артиллерийские казармы на Литейной забрать там орудия и звать артиллеристов на Сенатскую площадь. Это тоже не было сделано. А между тем, как важно было бы для заговорщиков иметь пушки на своей стороне! Но и эту страшную ошибку мог поправить Панов, проходивший с лейб-гренадерами по Дворцовой площади мимо тех самых орудий, которые потом осыпали восставших картечью. Все говорят, что Панов мог тогда захватить эти орудия. Но он даже не попытался сделать это.

Тот же Панов проходил со своими солдатами через Петропавловскую крепость и, стало быть, без труда мог овладеть ею, обезпечив этим надежную точку опоры своим единомышленникам в случае неудачи. Но и эта мысль, как видно, не приходила ему в голову? Чем об'яснить эти промахи? И чем об'яснить, наконец, тот, может быть, крупнейший промах, что восставшие до вечера стояли на площади, дав своим врагам время собраться с силами, а не предупредили их нападения и не напали на дворец ранним утром?

Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что благодаря всем этим и другим подобным ошибкам, заговорщики лишились возможности нанести своим врагам жестокие и страшные удары. И невольно переспрашиваешь себя: да неужели же в самом деле не хватило находчивости, решительности или храбрости у этих блестящих военных людей, полных ума и энергии и умевших смотреть в глаза смерти без малейшей боязни? Нет, такое предположение решительно несообразно с тем, что мы знаем о декабристах. Но если это так, то, спрашивается, чем же об'ясняется нецелесообразное поведение заговорщиков в день 14 декабря 1825 г.

Я думаю, что на этот вопрос можно правильно ответить лишь указанием на ту черту их психологии, которую я отметил, сказав, что они *сознательно* шли *на мученичество*. Они мало верили в непосредственный успех своего восстания; это показывают собственные признания многих из них. На совещаниях у Рылеева, происходивших во время междуцарствия, обнаружилось, что силы тайного общества очень малы. Когда утром 12-го декабря депутаты от разных полков собрались у Оболенского, то на его вопрос: „сколько каждый из них может вывести на Сенатскую площадь?“, они ответили, что *не могут поручиться ни за одного человека*. При таких условиях трудно питать уверенность в победе. И если заговорщики все-таки вышли на площад, то это об'ясняется их уверенностью в том, что их гибель нужна для побуждения „спящих россиян“. Рылеев, который, по его собственным словам, *мог все остановить*, и который всех побуждал к действию, хорошо знал, что идет на гибель. То же знали, как видно, и другие, например, молодой князь

Одоевский, воскликнувший накануне восстания: „Мы умрем, но мы умрем со славой!“

Если мы допустим, что таково было настроение членов тайного общества, то их действия на Сенатской площади представятся в совершенно новом свете. Смотря на события 14-го декабря, как на *сражение* между сторонниками самодержавия и сторонниками политической свободы, мы не можем не видеть *непоследовательности и нецелесообразности в действиях заговорщиков.* Если же мы взглянем на те же события, как на *военную манифестацию,* предпринятую людьми, неуспевшими приготовиться к серьезной битве и решившимися погибнуть для того, чтобы своею гибелью указать путь будущим поколениям, то мнимая непоследовательность и нецелесообразность их действий *очень просто об'яснится нежеланием усиливать кровопролитие и увеличивать число жертв.* „Эти люди хотели всенародно заявить мысль русской свободы,— справедливо говорит Герцен,— зная, что они погибнут, но что раз всенародно заявленная, эта мысль уже никогда не погибнет“. При таком настроении вопрос о том, удастся или нет захватить пушки или занять Петропавловскую крепость, мог иметь в их глазах лишь второстепенное или третьестепенное значение.

Если же, взглянув на дело с этой точки зрения, мы спросим себя, достигнута ли была *главная цель* восставших, то мы не колеблясь ответим *утвердительно,* потому что, — как это очень хорошо сказал тот же Герцен, — *пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение.*

Прибавлю еще, что с этой точки зрения героическая самоотверженность заговорщиков представляется в еще более ярком свете.

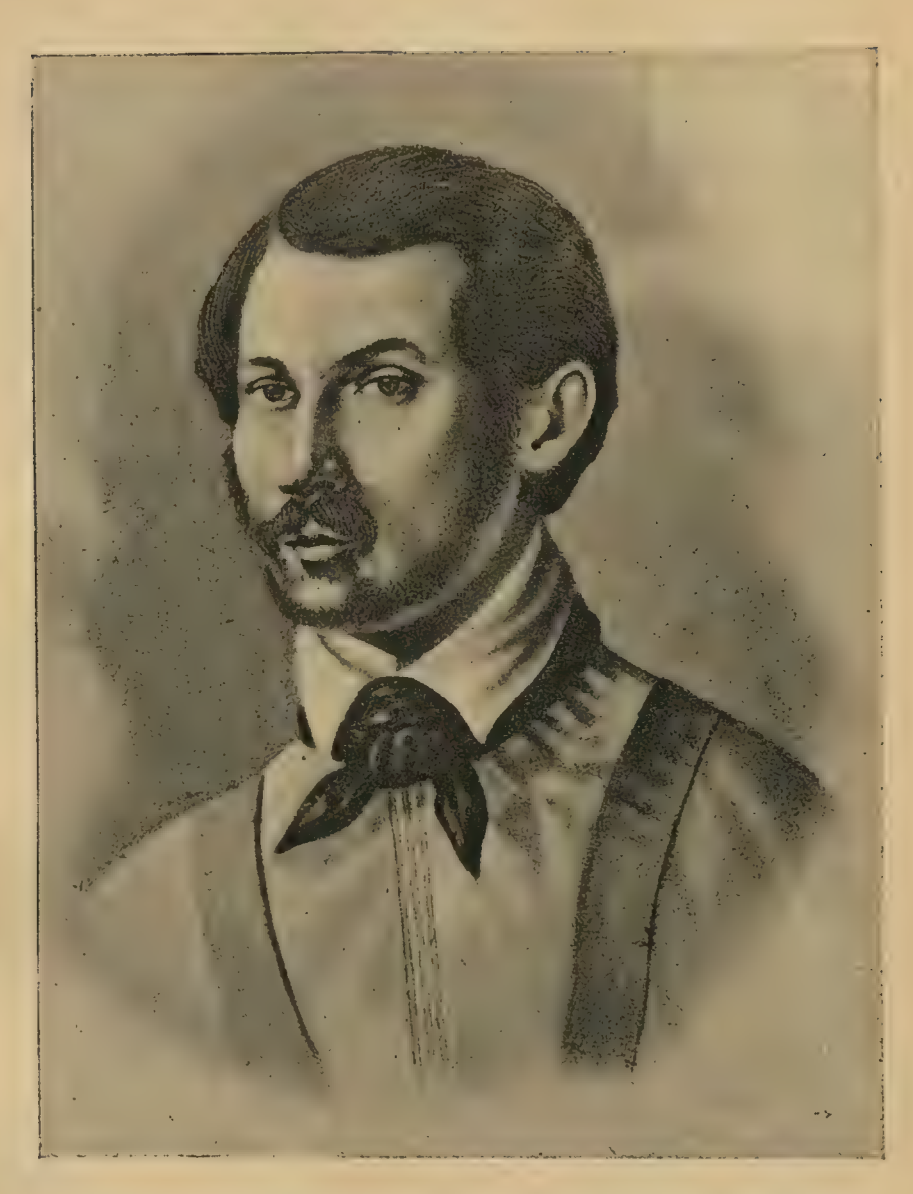
Г. В. Плеханов.

Восстание Черниговского полка.

По доносу шпионов, Александр I, перед своей кончиной в Таганроге, узнал о существовании Тайного Общества. Находившийся при нем начальник главного штаба генерал Дибич и генерал-ад'ютант Чернышев, по повелению-ли императора, или сами собой, распорядились об арестовании в Тульчине и в 3-м пехотном корпусе в Киевской губернии всех членов тайного союза, поименованных в доносе лазутчиков. Чернышев сам приехал в Тульчин (главную квартиру 2-й армии) и потребовал немедленно ареста полковника Пестеля и его единомышленников. Пестеля и многих других арестованных отправляли с жандармами в Петербург. Такие же меры приняты и начальником 3-го корпуса по настоянию Чернышева. В 3-м пехотном корпусе также многих арестовали.

Арестовали и Черниговского полка подполковника Сергея Муравьева-Апостола, который с поручиком Бестужевым - Рюминым были главными деятелями в управе 3-го пехотного корпуса и присоединенного к ней Общества Соединенных Славян. (Муравьев и Бестужев пользовались неограниченною доверенностью всех членов, и на юге были душею тайного союза).

Возвышенный и чистый характер Сергея Муравьева-Апостола, светлый и образованный ум, нежное расположение к людям, — все эти прекрасные свойства приобрели ему всеобщее уважение и любовь всех знавших его. Черниговские единополчане, офицеры и солдаты, были ему беспредельно преданы. Узнав об его арестовании, все шесть рот этого полка, собранные в Василькове, поднялись, освободили его из под ареста, при чем был ранен противившийся этому начальник полка Гебель. Офицеры и солдаты поклялись Муравьеву следовать за ним, куда-бы он их ни повел и повиноваться ему безусловно.



Александр Александрович БЕСТУЖЕВ. (Марлинский).

Сергей Муравьев принял начальство над 6-ю ротами, бывшими в сборе в Василькове и повел их к Белой Церкви, чтобы соединиться там с другими полками 3-го корпуса, в котором начальники и многие офицеры были члены тайного общества, и хотел атаковать их. Он надеялся увлечь их и действовать по обстоятельствам сообразно с духом и сокровенною целью тайного союза.

Начальник 3-го корпуса генерал *Ротт*, извещенный о происшедшем в Василькове и о движении Муравьева к Белой Церкви, послал против него отряд гусар Ахтырского полка с артиллериею, под начальством генерала Гейснера. Отряд скоро настиг Черниговские роты, в которых были единомышленные полковые начальники и офицеры. Муравьев, при появлении гусар, построил свой небольшой отряд в колонну и приказал солдатам без выстрела броситься на пушки. Овладев ими, он надеялся не только устоять против гусар, но и их присоединить к себе, потому что в конном отряде были члены тайного общества. Черниговцы бросились смело на пушки за неустрашимым начальником, но первый картечный выстрел с батареи сразил Муравьева: он, раненый в голову, упал без чувств и, чрез час, когда пришел в себя, увидел отряд свой рассеявшимся и солдат забранными в плен.

С Сергеем Муравьевым захвачены родные его братья, Матвей (тоже подполковник) и меньшой, Ипполит, который, предвидя, участь, его ожидающую, застрелился на месте. С ними взято несколько офицеров Черниговского полка; из них поручик Кузьмин тоже застрелился, будучи посажен под арест с Муравьевым. Все члены тайного союза и Общества Соединенных Славян в 3-м корпусе были арестованы и с фельд'егерями и жандармами отправлены в Петербург.

Декабрист *М. А. Фонвизин.*

Песня.

Что не ветер шумит во сыром бору —
Муравьев идет на кровавый пир.
С ним Черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать!
И не бурей пал долу крепкий дуб,
А изменник-червь подточил его.
Закатилася воля-солнышко —
Смерти ночь легла в поле бранное...
Как на поле том бранный конь стоит;
На земле пред ним Муравьев лежит:
„Конь мой, конь! скачи в святой Киев-град;
„Там товарищи, там мой милый брат.
„Отнеси ты к ним мой последний вздох
„И скажи, что цепей я снести не мог...
„Пережить нельзя мысли горестной,
„Что не мог купить кровью вольности!“

Декабрист *А. Бестужев. (Марлинский).*

1827 г.

Отдел V.

Ликвидация заговора.

Аресты.

15 декабря 1825 года начались аресты. Какими красками описать отвратительный вид, который представляли царь и его двор в эти часы, посвященные мести. Можно было видеть офицеров в мундирах, со связанными за спиною руками, с оковами на ногах, являвшихся в таком виде пред новым императором. С угрозами и бранью на устах он допрашивал их, даруя прощение и не выполняя обещания. Толпа царедворцев рукоплескала словам своего господина: „бездельники", „негодяи"... Окружающие усердно поддерживали в нем его мстительное настроение. Очень немногие из царедворцев сохранили свое достоинство.

19 декабря, в субботу вечером, я был арестован в доме матушки, в возрасте 22 лет.

С большим трудом я получил разрешение сказать вечное прости моей доброй матушке. Когда я был приведен во дворец с моими товарищами по полку Анненковым и Арцыбашевым, император взял нас под руки и начал спокойно наш допрос; потом, повышая голос все более и более, он стал обращаться к нам с угрозою. Он приказал Левашеву записывать ответы на вопросы, которые тот должен был задавать. Через полчаса император вернулся к нам и в присутствии начальника гвардейского штаба Нейдгардта, командира гвардейского корпуса Воинова и графа Апраксина даровал нам прощение, но при этом нам было об'явлено, что мы проведем шесть месяцев в крепости — Анненков в Выборге, Арцыбашев в Нарве, а я в Ревеле. Генералы, как и присутствующие царедворцы, бросились целовать руки императора, приказывая нам делать то же. Император, видя наше колебание, отступил на несколько шагов и заявил нам, что ему не нужна наша благодарность. Царедворцы стали выражать свое негодование по нашему адресу.

Матушка моя сохранила собственноручную записку вдовствующей императрицы, где ей положительно было обещано мое помилование. Увы, бедная мать! — Она была жестоко обманута.

По выходе из кабинета императора мы были отведены под конвоем в спешно приспособленную дворцовую тюрьму, а оттуда были отвезены с фельд'егерем в места нашего назначения.

Я пробыл в Ревельской крепости до первого мая.

1 мая прибыл за мной фельд'егерь. Через 24 часа я был в Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость — гнусный памятник самодержавия на фоне императорского дворца, как роковое предостережение, что они не могут существовать один без другого.

Привычка видеть перед глазами темницу, где стонут жертвы самовластия, в конце концов, непременно должна притуплять сочувствие к страданиям ближнего.

Не хватало казематов в виду множества жертв. Помещения, предназначенные для гарнизонных казарм, были обращены в тюрьму. Стекла окон, покрытые в проклейку слоем мела, не пропускали в эти логовища живительных лучей солнца. В длинных комнатах этих казарм были устроены из бревен клетки, размещенные так, чтобы сделать невозможным сообщения между ними. Арестованный не мог делать более трех или четырех шагов по диагонали своего каземата. Труба из кованного железа была проведена через некоторые из этих клеток; эти трубы были расположены настолько низко, что все время чувствовалась жара, и это было истинной пыткой для арестанта.

Мы прибыли, миновали крепостной под'емный мост и остановились у дверей квартиры коменданта. Фельд'егерь сдал меня на руки плац-майору, который, не разговаривая со мною, отвел меня в грязную, сырую, мрачную и тесную камеру.— Сломанный стол, скверная кровать и железная цепь, один конец которой был вделан в стену, составляли всю ее мебель. Совершив с чрезвычайной быстротой после четырехмесячного заключения переезд в 360 верст, я был изнурен уста-

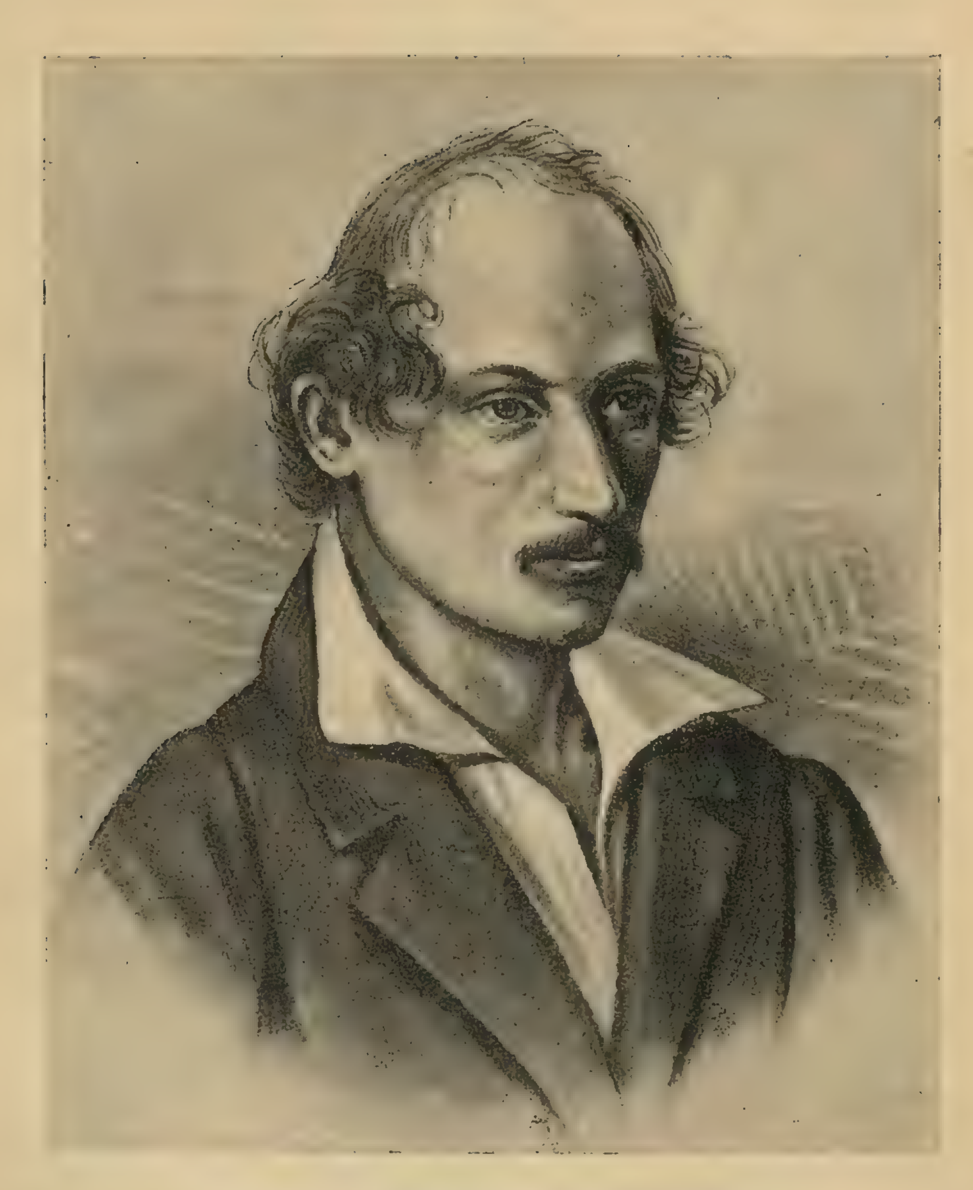
лостью и по уходе плац-майора бросился в одежде на ужасную кровать; я услышал, как запирали на запоры двойные двери моей камеры. И вот я один, отгороженный от всего живого. Я проводил лежа целые часы, думая о моей матери, о моем брате, который, я знал, был заключен в той же крепости. Слезы навернулись мне на глаза.

Декабрист А. Муравьев.

„Инквизиция“.

Следственная комиссия приступила к розысканиям. Множество лиц было захвачено в Петербурге по подозрению в участии в тайных обществах; других свозили в Петропавловскую крепость со всех концов России. Сначала некоторых допрашивал во дворце сам император; к нему приводили обвиняемых с связанными руками назад веревками, как в полицейскую управу, а не в царские чертоги. Государь России, забывая свое достоинство, позволял себе ругаться над людьми беззащитными, которые были в полной его власти, и угрожал им жестокими наказаниями. Тайная следственная комиссия, составленная из угодливых царедворцев, действовала в том же инквизиционном духе.

Обвиняемые содержались в самом строгом заточении, в крепостных казематах и беспрестанном ожидании и страхе быть подвергнутыми пытке, если будут упорствовать в запирательстве. Многие из них слышали из уст самих членов следственной комиссии такие угрозы. Против узников употребляли средства, которые поражали их воображение и тревожили дух, раздражая его то страхом мучений, то обманчивыми надеждами, чтобы только исторгнуть их признания. Ночью внезапно отпиралась дверь каземата; на голову заключенного накидывали покрывало, вели его по коридорам и по крепостным переходам в ярко освещенную залу присутствия. Тут, по снятии с него покрывала, члены комиссии делали ему вопросы на жизнь и смерть и, не давая времени образумиться, с грубостью требовали ответов мгновенных и положительных; царским именем обещали подсудимому помилование за чистосердечное признание, не принимали никаких оправданий, выдумывали небывалые показания,



Михаил Карлович КЮХЕЛЬБЕКЕР.

будто-бы сделанные товарищами, и часто отказывали даже в очных ставках. Кто не давал желаемых ими ответов, по неведению ли происшествий, о которых его спрашивали или из опасения необдуманным словом погубить безвинных, того переводили в темный и сырой каземат, давали есть один хлеб с водою и обременяли тяжкими ручными и ножными оковами. Медику крепостному поручено было наблюдать, в состоянии-ли узник вынести еще сильнейшие телесные страдания.

После того, могли-ли признания обвиняемых, вынужденныя такими насильственными средствами, почитаться добровольными? Часто они были не истинны и показания некоторых обвиняемых, упавших духом, содержали в себе вещи несбыточные и до того нелепые, что человек в здравом уме и с полным сознанием никак не мог бы наговорить такого вздора и во вред самому себе и другим товарищам. Все такие порождения расстроенной фантазии некоторых из узников представлены, как истинные намерения и действия в донесении тайной следственной комиссии. Редактор этого акта воспользовался ими довольно ловко и успел придать вид внутренней связи (вероятности) этому сплетению искаженной истины с небылицами и ложью, не только для обвинения подсудимых, но и для того, чтобы всячески очернить нравственный характер тайного союза и самую чистоту его намерений.

Из членов тайной следственной комиссии всех пристрастнее и недобросовестнее поступал бывший после военным министром князь Чернышов: допрашивая подсудимых, он приходил в яростное исступление, осыпал их самыми пошлыми ругательствами.

В последние недели заседаний следственной комиссии набралось так много подозреваемых в участии в тайных обществах лиц, что само правительство приказало комиссии ограничиться в своих розысках только теми, которых она признавала более виновными, а прочих освободить от следствия. В продолжение шести месяцев арестованных в разных местах по подозрению было до двух тысяч человек.

Доклад тайной следственной комиссии был единственным обвинительным актом, по которому судились все замешанные в деле тайных обществ. В этом докладе действия многих членов представлены намеренно превратно.

В донесении следственной комиссии не выставлено ни одного обстоятельства, ни одного действия подсудимых, которое бы могло возбудить участие к ним соотечественников. Сколько было показаний многих из них, в которых представлено в истинном виде тогдашнее состояние России, страдавшей под вековым гнетом самовластия! Сколько верных изображений хаотического беспорядка и в законодательстве и в администрации! Сколько уроков самому правительству для уврачевания тяжких язв, с'едающих Россию! Уничтожением крепостного рабства целой трети ее народонаселения, винных откупов, посредством которых главный государственный доход основан на развращении и разорении народа по несчастной страсти его к крепким напиткам поощренной с ведома правительства винными откупами до невероятности размножающими средства удовлетворять эту страсть, все эти горькие истины и многие другие откровенно и добросовестно высказаны подсудимыми и, однако, обо всем этом умолчено в донесении следственной комиссии царю. Во всем этом политическом процессе правительство действовало с неслыханным пристрастием и как истец или тяжущаяся сторона, и, вместе с тем, как раздраженный, неумолимый судья. Какого же правосудия можно было ожидать, когда умышленно нарушались и те немногие судебные обряды и формы, которые служат для подсудимых ограждением от произвола и пристрастия предубежденных судей.

Верховный уголовный суд, основываясь на одном докладе следственной комиссии, даже не хотел призвать к себе подсудимых и отобрать от них дополнительные показание, которые и русские законы им предоставляют. Подсудимые видели своих судей один только раз, в день произнесения им приговора.

В угождение раздраженной власти, верховный уголовный суд приговорил на смертную казнь пятерых—четвер-

тованием, 27 — отсечением головы, 97 — к ссылке в Сибирь в каторжную работу вечно и на сроки, в Сибирь на поселение и в солдаты без выслуги и с выслугой. Император смягчил приговор верховного уголовного суда и удовольствовался только пятью обреченными на смерть, которые и были повешены в крепостном кронверке,— прочим же переломили над головами шпаги и сослали в Сибирь.

Декабрист *М. А. Фонвизин.*

Следственная комиссия.

Комиссия эта состояла из военного министра, глупого старика, занимавшего председательское кресло; великого князя Михаила, который был и судьей и стороной в собственном деле; генерала Дибича, пруссака, который как и многие другие иностранные искатели приключений, пользовался благоволением государя; генерала Кутузова, петербургского генерала губернатора; князя Голицына, бывшего министра духовных исповеданий; генералов Потапова, Левашева и Чернышева. Полковник Адлерберг, ад‘ютант императора, присутствовал там, чтобы делать заметки, которые он ежедневно передавал своему повелителю.

Этот инквизиционный трибунал собирался в доме коменданта Петропавловской крепости. В начале его заседания происходили позднею ночью, когда же стали торопиться закончить наш процесс, заседания происходили днем и ночью. Когда эти заседания были ночными, заключенный являлся перед своими судьями изнуренный голодом и мучениями. Плац-майор или один из ад‘ютантов приходили в каземат за заключенным, набрасывали ему на лицо покрывало перед тем, как ого оттуда вывести, и, взяв за руку, в молчании вели его через крепостные коридоры и переходы. Только в ярко освещенном зале, где находилась комиссия, спадало покрывало. Царедворцы в блестящих мундирах, не давая заключенному времени собраться с мыслями, задавали вопросы, от которых зависели жизнь и смерть, требуя быстрых и решительных ответов о делах, совершенно неведомых допрашиваемому. Хранившееся им молчание было новой уликой, вменявшейся ему в вину.

В качестве руководящей нити в лабиринте столь сложного дела комиссия имела два доноса — Шервуда и Майбороды, а также бумаги, захваченные в домах обвиняемых. Таким же образом попал в руки комиссии проект консти-

туции моего брата. *) Не так легко было ей захватить проект Пестеля, который из предосторожности зарыл его в землю, в потаенном месте, труд, стоивший ему стольких лет жизни. Комиссия обязана указанием этого места Майбороде. Лачинов, один из членов Южного Общества, спрятавший проект, был разжалован в солдаты.

Этот Секретный Комитет, как он назывался, был инквизиционным трибуналом — без уважения и внимания к людям, без тени справедливости или беспристрастия, при глубоком неведении законов. Когда комитетом исключительно овладела мысль закончить скорее дело, он свалил в одну кучу виновных и невинных, чтобы отделаться от них и заслужить похвалу за быстроту. Царедворцы, не имевшие иной цели существования, кроме стремления добиться благоволения своего повелителя, не допускали возможности политических убеждений, отличных от их собственных; и это были наши судьи.

Особенным остервенением против нас отличались среди них Левашев и Чернышев; им обоим было, главным образом, поручено предлагать вопросы. Все средства казались им хорошими. Они выдавали ложные показания за подлинные, прибегали к угрозам очных ставок, которых потом не давали. Чаще всего они уверяли узника, что его преданный друг во всем признался им. Обвиняемый, которого немилосердно и беспощадно терзали допросами, в оцепенении соглашался подписать (показания). Когда же его друга вводили в зал заседаний, тот не мог ни в чем признаться, так как ничего и не было. Обвиняемые бросались друг другу в об'ятия к вящему смеху членов комиссии. Между тем их смертный приговор был уже подписан. Полковник главного штаба Фаленберг, приведенный заключением в умственное расстройство, дошел до обвинения самого себя в умысле, которого никогда не имел; его друг, князь Барятинский, доказал это ему перед комиссией в сжатой и логической форме. Комиссия, не обратив внимания на нравственное и умственное расстройство Фаленберга, чрезвычайно похвалила его раскаяние, но осудила его.

*) Никиты Муравьева.

Один офицер морской гвардии, едва достигший 19 лет, Дивов, которого тюрьма и плохое обращение также довели до умственного расстройства, повинился в том, что со времени своего заключения он постоянно видит один только сон, а именно, что он закалывает императора кинжалом. Комиссия имела бесстыдство сделать из этого пункт обвинения против него. Я привожу лишь наиболее выдающиеся факты. Случалось, что члены комиссии заявляли с наивным добродушием: „признавайтесь же скорее, вы заставляете нас ждать, наш обед стынет“.

Комиссия обыкновенно старалась изобразить нас цареубийцами; это навлекало на нас негодование массы, слушающей, но не рассуждающей.

Известный своим умом и энергичным характером полковник Лунин на вопрос о замысле на цареубийство ответил: „господа, тайное общество никогда не имело целью цареубийство, его цель более благородна и более возвышенна. Впрочем, как вам хорошо известно, эта мысль не нова в России; примеры слишком свежи“.

Два члена комиссии, Татищев и Кутузов, были сообщниками в кровавом умерщвлении императора Павла. Ответ попал в цель, и комиссия приведена была в замешательство.

Комиссия с жестокостью настаивала, чтобы Никита Муравьёв признался в том, что Северное Общество желало республики. Выведенный из терпения таким ожесточением, Никита Муравьев ответил: „мой проект конституции, который у вас в руках, — монархический, но, если вам угодно знать, изучение (вопроса) укрепило во мне направление, данное моим политическим идеям, и теперь я громко заявляю, что я всем сердцем и убеждением республиканец“.

Арестованный, возвратясь в свою камеру, тотчас же посещался священником.*) Те, которые были не очень скомпрометированы, забавлялись дурачением комиссии. Между прочим, капитан Горский, на вопрос о причинах вступления в Тайное Общество ответил: „единственно из подражания моде“.

*) Этот поп имел негласное поручение вызывать заключенных на откровенные признания и доносить о них в следственную комиссию.

Происходили также комические сцены. Майор Раевский, человек блестящих способностей, говоря о немцах, заставил Дибича подпрыгнуть в своем кресле. Князь Шаховской не сознавался ни в чем и тем не менее осужден был в ссылку. Полковник Граббе, известный благородством характера и весьма отличный офицер, когда его допрашивал Чернышев, заявил отвод против последнего, об'яснив, что в кампанию 1814 года он во время стычки с неприятелем безрезультатно звал Чернышова присоединиться к нему со своим отрядом; Чернышев не захотел разделить опасности сражения, за что Граббе оскорбил его.

Граф Захар Чернышев был осужден только потому, что его судья был его однофамильцем. Дед графа Захара основал значительный майорат, и генерал Чернышев, член комиссии, без малейшей связи с фельдмаршалом, основателем майората, имел бесстыдство претендовать на овладение имуществом семьи, которая была ему во всех отношениях чужой.

Многие из тяжко замешанных в деле не были даже допрошены: генерал Шипов, который был ближайшим другом Павла Пестеля, Александр Шипов, князь Лопухин, князь Илья Долгорукий, который был директором Северного Общества, граф Витгенштейн, ад'ютант императора. М. Орлов был арестован, заключен в Петропавловскую крепость и освобожден. Следственная комиссия, назначенная 17 декабря 1825 года, тотчас же открыла свои заседания, которые закончила 30 мая 1826 года. Она передала все дело Верховному Суду, который повел его с величайшей поспешностью, так как он судил и осудил нас, не видав и не выслушав нас.

Приговор был приведен в исполнение менее чем в 24 часа после того, как он был нам прочитан.

Декабрист А. Муравьев.

В ТЮРЬМЕ.

(*Четверостишие Рылеева* написанное им гвоздем на оловянном блюде во время его заключения в крепости):

„Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне-ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну?“...

Допрос Рылеева.

Верховный Следственный Комитет по делу Четырнадцатого открыл заседания сначала в Зимнем Дворце, а потом в Петропавловской крепости. Все дело вел сам государь, работая без отдыха, часов по пятнадцати в сутки, так что приближенные опасались за его здоровье.

— Что бы ни случилось, я дойду с божьей помощью до самого дна этого омута! — говорил Николай Бенкендорфу.

— Потихоньку, потихоньку, ваше величество! Силой ничего не возьмешь, — надо лаской да хитростью...

— Не учи, сам знаю, — отвечал государь и хмурился, краснел, вспоминая о Трубецком, но утешался тем, что эта неудача произошла от немощи телесной, усталости, бессонницы; было раз и больше не будет. Отдохнул, успокоился и опять, как тогда, после расстрела на площади, почувствовал, что „все как следует“.

Рылеева допрашивали в Комитете, 21-го декабря, а на следующий день привезли во дворец на допрос к государю.

„Только бы сразу конец!“ — думал Рылеев, но скоро понял, что конец будет не сразу: запытают пыткой медленной, заставят испить по капле чашу смертную.

На другой день после ареста, государь велел справиться, не нуждается ли жена Рылеева в деньгах. Наталья Михайловна ответила, что у нее осталась тысяча рублей от мужа. Государь послал ей в подарок от себя две тысячи, а 22 декабря, в день ангела Настеньки, дочки Рылеева — еще тысячу от императрицы Александры Феодоровны.

И обещал простить его, если он во всем признается. „Милосердие государя потрясло мою душу“, писала она мужу в крепость.

Больше всего удивило Рылеева, что подарок послан ко дню Настенькина ангела: значит, об имени справились. „Какие нежности! Знает чем взять, подлец! Ну, а что, если“... начал думать Рылеев и не кончил: стало страшно.

Однажды поблагодарил коменданта Сукина за свидания с женою. Тот удивился, потому что не разрешал свидание; подумал, не вошла ли без пропуска. Допросил сторожей, но все подтвердили в один голос, что не входила.

— Должно быть, вам приснилось, — сказал он Рылееву.

— Нет, видел ее, вот как вас вижу. Сказала мне, чего я и знать не мог, — о подарке государевом.

— Да ведь, вы об этом в Комитете узнали.

— В комите потом, а сначала от нее.

— Может быть, забыли?

— Нет, помню. Я еще с ума не сходил.

— Ну, так это была стень.

— Какая стень?

— А когда наяву мерещится. Вы больны. Лечиться надо.

„Да, болен“, — подумал Рылеев с отвращением.

Вечером 22-го, привезли его на дворцовую гауптвахту, обыскали, но рук не связывали; отвели под конвоем во флигель-ад'ютантскую комнату, посадили в углу, за ширмами, и велели ждать.

Он старался думать о том, что скажет сейчас государю, но думал о другом. Вспоминал, как в ту последнюю ночь, когда пришли его арестовать, Наташа бросилась к нему, обвила его руками, закричала криком раздирающим, похожим на тот, которым кричала в родах:

— Не пущу! Не пущу!

И обнимала, сжимала все крепче. О, крепче всех цепей эти слабые нежные руки — цепи любви! Со страшным усилием он освободился. Поднял ее, почти бездыханную, понес, положил на постель и, выбегая из комнаты, еще раз оглянулся. Она открыла глаза и посмотрела на него: то был ее последний взгляд.

„Я-то хоть знаю, за что распнут; а она будет стоять у креста, и ей самой оружие пройдет душу, а за что, — никогда не узнает“.

Так думал он, сидя в углу, за ширмами, во флигель-адъютантской комнате.

А иногда уже не думал ни о чем, только чувствовал, что лихорадка начинается. Свет свечей резал глаза; туман заволакивал комнату, и казалось, — он сидит у себя в каземате, смотрит на дверь и, как тогда, перед „стенью“, ждет, что дверь откроется, — войдет Наташа.

Дверь открылась, — вошел Бенкендорф.

— Пожалуйте, — указал ему на дверь и пропустил вперед.

Рылеев вошел.

Государь стоял на другом конце комнаты. Рылеев поклонился ему и хотел подойти.

— Стой! — сказал государь, сам подошел и положил ему руки на плечи. — Назад! Назад! Назад! — отодвигал его к столу, пока свечи не пришлись прямо против глаз его. — Прямо в глаза смотри! Вот так! — повернул его лицом к свету. — Ступай, никого не принимать, — сказал Бенкендорфу.

Тот вышел.

Государь молча, долго смотрел в глаза Рылееву.

— Честные, честные! Такие не лгут! — проговорил, как будто про себя, опять помолчал и спросил: — Как звать?

— Рылеев.

— По имени?

— Кондратий.

— По батюшке?

— Федоров.

— Ну, Кондратий Федорович, веришь, что могу тебя простить?

Рылеев молчал. Государь приблизил лицо к лицу его, заглянул в глаза еще пристальнее и вдруг улыбнулся. „Что это? Что это“ все больше удивлялся Рылеев: что-то молящее, жалкое почудилось ему в улыбке государя

— Бедные мы оба! — тяжело вздохнул государь. — Ненавидим, боимся друг друга. Палач и жертва. А где палач, где жертва, — не разберешь. И кто виноват? Все, а я больше всех. Ну, прости. Не хочешь, чтобы я — тебя, так ты меня прости! — потянулся к нему губами.

Рылеев побледнел, зашатался.

— Сядь, — поддержал его государь и усадил в кресло. — На, выпей, — налил воды и подал стакан. — Ну, что, легче? Можешь говорить?

— Могу.

Рылеев хотел встать. Но государь удержал его за руку.

— Нет, сиди, — придвинул кресло и сел против него. — Слушай, Кондратий Федорович. Суди меня, как знаешь, верь или не верь, а я тебе всю правду скажу. Тяжкое время возложено на меня провидением. Одному не вынести. А я один, без совета, без помощи. Бригадный командир — и больше ничего. Ну, что я смыслю в делах? Клянусь богом, никогда не желал я царствовать и не думал о том, — и вот! Если бы ты только знал, Рылеев, — да нет, никогда не узнаешь, никто никогда не узнает, что я чувствую и чувствовать буду всю жизнь, вспоминая об этом ужасном дне, — Четырнадцатом! Кровь, кровь — весь в крови, — не смыть, не искупить ничем! Ведь я же не зверь, не изверг, — я человек, Рылеев, я тоже отец. У тебя Настенька, у меня — Сашка. Царь — отец, народ — дитя. В дитя свое нож, в Сашку! в Сашку! в Сашку!

Закрыл лицо руками. Долго не отнимал их; наконец, отнял и опять положил их на плечи его, заглянул в глаза с улыбкою, как будто молящею.

— Видишь, я с тобой, как друг, как брат. Будь же и ты мне братом. Пожалей, помоги!

„Лжет — не лжет? Лжет — не лжет? Искушаешь, дьявол? Ну, погоди ж, и я тебя искушу!“ — вдруг разозлился Рылеев.

— Правду хотите знать, ваше величество? Так знайте же: свобода обольстительна, и я, распаленный ею, увлек и других. И не раскаиваюсь. Неужели тем виноват я перед человеками, что пламенно желал им блага? Но не о себе хочу

говорить, а об отечестве, которое, пока не остановится биение сердца моего, будет мне дороже всех благ мира и самого неба!

Говорил, как всегда, книжно, не просто, а теперь особенно, потому что заранее обдумал всю эту речь. Вдруг вскочил, поднял руки; бледные щеки зарделись, глаза засверкали, лицо преобразилось. Сделался похож на прежнего Рылеева, бунтовщика неукротимого — весь легкий, летящий, стремительный, подобный развеваемому ветром пламени.

— Знайте, государь: пока будут люди, будет и желание свободы. Чтобы истребить в России корень свободомыслия, надо истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в прошлое царствование. Смело говорю: из тысячи не найдется и ста не пылающих страстью к свободе. И не только в России, — нет, все народы Европы одушевляет чувство единое, и сколь не утеснено оно, убить его невозможно. Где — укажите страну, откройте историю, — где и когда были счастливы народы под властью самодержавною, без закона, без права, без чести, без совести? Злодеи вам — не мы, а те, кто унижает в ваших глазах человечество. Спросите себя самого: что бы вы на нашем месте сделали, когда бы подобный вам человек мог играть вами, как вещью бездушною?

Государь сидел молча, не двигаясь, облокотившись на ручку кресла, опустив голову на руку, и слушал спокойно — внимательно. А Рылеев кричал, как будто грозил, руками размахивал; то садился, то вскакивал.

— В манифесте сказано, что царствование ваше будет продолжением Александрова. Да неужели же, неужели вы не знаете, что царствование сие было для России убийственно? Он-то и есть главный виновник Четырнадцатого. Не им ли исполински двинуты умы к священным правам человечества, и потом остановлены, обращены вспять? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы, и потом так жестоко свобода удавлена? Обманул Россию, обманул Европу. Сняты золотые цепи, увитые лаврами, и голые, ржавые — гнетут человечество. Вступил на престол „Благословенный“, — сошел в могилу проклятый!

— Ты все о нем, ну, а обо мне что скажешь? — спросил государь все так же спокойно.

— Что о вас? А вот что! Когда вы еще великим князем были, вас уже никто не любил, да и любить было не за что: единственные занятия — фрунт и солдаты; ничего знать не хотели, кроме устава военного, и мы это видели и страшились иметь на престоле Российском прусского полковника, или, хуже того, второго Аракчеева, злейшего. И не ошиблись: вы плохо начали, ваше величество! Как сами изволили давеча выразиться, взошли на престол через кровь своих подданных; в народ, в дитя свое вонзили нож... И вот плачете, каетесь, прощения молите. Если правду говорите, дайте России свободу, — и мы все ваши слуги вернейшие. А если лжете, берегитесь: мы начали — другие кончат. Кровь за кровь — на вашу голову, или вашего сына, внука, правнука! И тогда-то увидят народы, что ни один из них так не способен к восстанию, как наш. Не мечта сие, но взор мой проницает завесу времен! Я зрю сквозь целое столетие! Будет революция в России, будет! Ну, а теперь казните, убейте...

Упал на кресло в изнеможении.

— Выпей, выпей, — опять налил государь воды в стакан. — Хочешь капель?

Сбегал за каплями, отсчитал в рюмку. Совал ему английской соли и спирта под нос. Рылеев хотел вытереть пот с лица; поискал платка, не нашел. Государь дал ему свой. Хлопотал, суетился, ухаживал. В движениях тонкого, длинного, гибкого тела была змеиная ласковость. „Стень, стень! Оборотень!“ — думал Рылеев с ужасом.

— Ах, Боже мой! Ну, разве можно так? Ну, полно же, полно! Приляг, отдохни. Хочешь вина, чаю? Закусить, поужинать?

— Ничего не надо! — простонал Рылеев и подумал с тоскою: „Когда же это кончится, господи!“

— Можешь выслушать? — спросил государь, опять придвинул кресло, уселся и начал:

— Ну, спасибо за правду, мой друг, — взял обе руки его и пожал крепко. — Ведь, нам, государям, все лгут, в кои-то

веки правду услышишь. Да, все правда, кроме одного: немцем на престоле Российском не буду. Если и был, так больше не буду. Бабка моя, императрица Екатерина, тоже немка была, а взошла на престол и сделалась русскою. Так вот и я.— Мы оба с тобою русские — и я, государь, и ты бунтовщик. Ну, скажи на милость, разве могли бы говорить так, как мы с тобой, не русские?

Что-то, подобное бледной улыбке, промелькнуло в лице Рылеева.

— Ну, что? — заметил ее государь и тоже улыбнулся.— Говори, не бойся, — сам видишь, правды со мной бояться нечего.

— Вы очень умны, государь.

— А-а, дураком считал! Ну вот, видишь, значит, хоть в этом ошибся. Нет, не дурак. Понимаю, что плохо в России. Я сам есмь первый гражданин отечества. Никогда не имел другого желания, как видеть Россию свободною, счастливою. Да знаешь ли ты, что я, еще великим князем, либералом был не хуже вашего? Только молчал, таил про себя. С волками жить, по волчьи выть. Вот и выл с Аракчеевым. Чем хуже, тем лучше. Вам помогал. Ну, говори же, только правду, всю правду, чего вы хотели — конституции? республики?

„Ну, конечно, лжет! Стень, стень, оборотень!“ — опять подумал Рылеев с ужасом. Но сильнее ужаса было любопытство жадное: „А ну-ка, попробовать, — не поверить, а только сделать вид, что верю?“

— Что ж ты молчишь? Не веришь? Боишься?

— Нет, не боюсь. Я хотел республики,— ответил Рылеев.

— Ну, слава богу, значит, умен! — опять крепко пожал ему обе руки государь.— Я понимаю самодержавие, понимаю республику, но конституцию не понимаю. Это образ правления лживый, лукавый, развратный. И я предпочел бы отступить до стен Китая, нежели принять оный. Видишь, как я с тобой откровенен,— плати и ты мне тем же!

Помолчал, посмотрел на него и вдруг схватился за голову.

— Что ж это было? Что ж это было? Господи! Зачем? Своего не узнали? Всех обманул — и вас. На друга своего восстали, на сообщника. Пришли бы прямо, сказали бы: вот чего мы хотим. А теперь... Послушай, Рылеев, может, и теперь еще не поздно? Вместе согрешили, вместе и покаемся. Бабушка моя говаривала: „Я не люблю самодержавия, я в душе республиканка, но не родился тот портной, который скроил бы кафтан для России“. Будем же вместе кроить. Вы — лучшие люди России: я без вас ничего не могу. Заключим союз, вступим в новый заговор. Самодержавная власть — сила великая. Возьмите ж ее у меня. Зачем вам революция? Я сам — революция!

Как скользящий в пропасть еще цепляется, но уже знает, что сорвется и полетит, так Рылеев еще ужасался, но уже радовался.

И глаза государя блеснули радостью.

— Погоди, не решай, подумай сначала. Так говорить, как я, можно только раз в жизни. Помни же: не моя, не твоя судьба решается, а судьба России. Как скажешь, так и будет. Ну говори, хочешь вместе? Хочешь? Да или нет?

Протянул руку. Рылеев взял ее, хотел что-то сказать и не мог: горло сжала судорога. Слезы поднимались, поднимались и вдруг хлынули. Сорвался — полетел, поверил.

— Как я... Что я сделал! Что я сделал! Как мы все... нет, я, я один... Всех погубил! Пусть же на мне все и кончится! Сейчас же, сейчас же, тут же на месте, казните, убейте меня! А тех, невинных, помилуйте...

— Всех, всех, и тебя и всех! Да и миловать нечего: ведь, я ж тебе говорю — вместе! — сказал государь, обнял его и заплакал, или так показалось Рылееву.

— Плачете? Над кем? Над убийцею? — воскликнул Рылеев и упал на колени; слезы текли все неутолимее, все сладостней; говорил, как в бреду; похож был на пьяного или безумного. — Именины Настенькины вспомнили! Знали, чем растерзать! Вот вы какой! Чувствую биение ангельского сердца вашего! Ваш, ваш навсегда! Но что́ я, — пятьдесят миллионов ждут вашей благости. Можно ли думать, чтобы

государь, оказывающий милости убийцам своим, не захотел любви народной и блага отечеству? Отец! Отец! Мы все, как дети, на руках твоих! Я в бога не веровал, а вот оно, чудо божье,—Помазанник Божий! Родимый царь батюшка, красное солнышко...

— А нас всех зарезать хотел?—вдруг спросил государь шопотом.

— Хотел,—ответил Рылеев тоже шопотом, и опять давешний ужас сверкнул, как молния,—сверкнул и потух.

— А кто еще?

— Больше никого. Я один.

— А Каховского не подговаривал?

— Нет, нет, не я,—он сам...

— А-а, сам. Ну, а Пестель, Муравьев, Бестужев? Во второй армии тоже заговор? Знаешь о нем?

— Знаю.

— Ну, говори, говори все, не бойся—всех называй. Надо всех спасти, чтобы не погибли новые жертвы напрасные. Скажешь?

— Скажу. Зачем сыну скрывать от отца? Я мог быть вашим врагом, но подлецом быть не могу. Верю! Верю! Сейчас еще не верил, а теперь... видит бог, верю! Все скажу! Спрашивайте!

Он стоял на коленях. Государь наклонился к нему, и они зашептались, как духовник с кающимся, как любовник с любовницей.

Рылеев все выдавал, всех называл—имя за именем, тайну за тайною.

Иногда казалось ему, что рядом, на двери, шевелится занавес. Вздрагивал, оглядывался. Раз, когда оглянулся, государь подошел к двери, как будто сам испугался, не подслушал бы кто.

— Нет, никого. Видишь?—раздвинул занавес так, что Рылеев почти увидел—почти, но не совсем.

— Ну что, устал?—заглянул в лицо его и понял, что пора кончать.—Будет. Ступай, отдохни. Если что забыл, попомни к завтраму. Да хорошо ли тебе в каземате, не темно ли, не сыро ли? Не надо ли чего?

— Ничего не надо, ваше величество. Если бы только с женой...

— Увидитесь. Вот ужо кончим допрос, и увидитесь. О жене и о Настеньке не беспокойся. Они — мои. Все для них сделаю.

Вдруг посмотрел на него и покачал головою с грустною улыбкою.

— И как вы могли?.. Что я вам сделал? — отвернулся, всхлипнул уже почти непритворно, над самим собою сжалился: „бедный малый“, „бедный Никс“.

— Простите, простите, ваше величество! — припал к его ногам Рылеев и застонал, как на смерть раненый.— Нет, не прощайте! Казните! Убейте! Не могу я этого вынести!

— Бог простит. Ну, полно же, полно,— обнимал, целовал его государь, гладил рукой по голове, вытирал слезы то ему, то себе общим платком.— Ну, с богом, до завтраго. Спи спокойно. Помолись за меня, а я — за тебя. Дай перекрещу. Вот так. Христос с тобой!

Помог ему встать и, подойдя к двери во флигель-ад‘ютантскую, крикнул:

— Левашев, проводи!

— Платок, ваше величество, — подал ему Рылеев.

— Оставь себе на память,— сказал государь и поднял глаза к небу. — Видит бог, я хотел бы утереть сим платком слезы не только тебе, но и всем угнетенным, скорбящим и плачущим!

Уходя, Рылеев не заметил, как из-за тяжелых складок той занавеси, которая шевелилась давеча, появился Бенкендорф.

— Записал? — спросил государь.

— Кое-чего не расслышал. Ну, да теперь кончено,— все имена, все нити заговора. Поздравляю, ваше величество!

— Не с чем, мой друг. Вот до чего довели, сыщиком сделался!

— Не сыщиком, а исповедником. В сердцах читать изволите. Как у апостола о слове божьем сказано: „острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов“...

„Присылаемого Рылеева содержать на мой счет —, писал государь крепостному коменданту Сукину.—Давать кофий, чай и прочее, а также для письма бумагу; и что́ напишет, ко мне приносить ежедневно. Дозволить ему писать, лгать и врать по́ воле его“.

— А платочек-то, платочек на память!—всхлипнул Бенкендорф и поцеловал государя в плечо. Тот взглянул на него молча, не выдержал — рассмеялся тихим смехом, торжествующим. Чувствовал, что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого.

Все еще боялся и ненавидел, не утолил жажды презрения, но уже надеялся, что утолит.

Д. С. Мережковский.

Маски императора.

Первые дни, первые месяцы своего царствования император всероссийский Николай Первый всю энергию, все способности своего духа употребил на розыски по делу декабристов. Всю жизнь в нем крепко и прочно сидел сыщик и следователь, вечно подозрительный и выслеживающий, вечно ищущий кого бы предать суду и наказанию. Но в первые месяцы царствования эта основная сущность его души раскрылась с необычайной полнотой и зловещей яркостью. В это время в России не было царя-правителя: был лишь царь-сыщик, следователь и тюремщик. Вырвать признание, вывернуть душу, вызвать на оговоры и изветы — вот священная задача следователя; и эту задачу в конце 1825 и в 1826 годах исполнял русский император с необыкновенным рвением и искусством. Ни один из выбранных им следователей не мог и сравниться с ним. Действительно, Николай Павлович мог гордиться тем, что материал, который лег в основу следствия, был добыт им и только им на первых же допросах. Без отдыха, без сна он допрашивал в кабинете своего дворца арестованных, вынуждал признания, по горячим следам давал приказы о новых арестах, отправлял с собственноручными записками допрошенных в крепость и в этих записках тщательно намечал тот способ заключения, который применительно к данному лицу мог привести к обнаружениям, полезным для следственной комиссии. За ничтожнейшими исключениями, все декабристы перебывали в кабинете дворца, перед ясными очами своего царя и следователя. Первые сообщения по делу каждый из них делал ему или генералу, сидевшему перед кабинетом, снимавшему допросы и тотчас же докладывавшему их государю. Иногда государь слушал эти допросы, стоя за портьерами своего кабинета...

Одного за другим свозили в Петербург со всех концов России замешанных в деле и доставляли в Зимний дворец.

Напряженно волнуясь, ждал их в своем кабинете царь и подбирал маски, каждый раз новые для нового лица. Для одних он был грозным монархом, которого оскорбил его же верноподданный, для других — таким же гражданином отечества, как и арестованный, стоявший перед ним; для третьих — старым солдатом, страдающим за честь мундира; для четвертых — монархом, готовым произнести конституционные заветы; для пятых — русским, плачущим над бедствиями отчизны и страстно жаждущим исправления всех зол. А он на самом деле не был ни тем, ни другим, ни третьим: он просто боялся за свое существование и неутомимо искал всех нитей заговора с тем, чтобы все эти нити с корнем вырвать и успокоиться.

Один из привлеченных к делу, простодушный и искренний Гангеблов, в несколько наивных выражениях передает впечатления, которые произвел на него царь-следователь. Отметив, что член следственной комиссии генерал Чернышев не прочь был вслух прочесть то, чего не было в бумаге, Гангеблов пишет: „Более и чаще всего мне приходили на память вопросы, которые мне были задаваемы самим государем. Тут не могло встретиться ничего подобного тому, что при неудаче могло бы случиться с Чернышевым. Государь прямо не уличал меня в преступлении; все его дознания предлагаемы им были в форме вопросов, а вопрос не есть улика. Нельзя не изумиться неутомимости и терпению Николая Павловича. Он не пренебрегал ничем: не разбирая чинов, снисходил до личного, можно сказать, беседования с арестованными, старался уловить истину в самом выражении глаз, в самой интонации слов ответчика“.

Внешними средствами, находившимися в его распоряжении, Николай Павлович воспользовался сообразно с обстоятельствами. Он знал, кого нужно приласкать, чтобы заставить говорить, и кого напугать так, чтобы он говорил, почти не останавливаясь.

С величайшим любопытством следишь за изменениями в приемах Николая Павловича.

К наивному молодому офицеру, Гангеблову, Николай Павлович подходил с ухватками ласковой кошки. „Что вы,

батюшка, наделали?.. Что вы это только наделали?.. Вы знаете, за что вы арестованы?“ — говорил он ему. И, взяв Гангеблова под руку, не сводя с глаз пристального взора, он водил его по зале. „Я с вами откровенен, платите и вы мне тем же“ и т. д. И все эти обороты для того, чтобы выудить признание в принадлежности к обществу.

С трепещущим от страха Ф. Н. Глинкой царь обошелся иначе. „После подробного вопрошения, сделанного ему прозорливым испытателем в императорском дворце, государь с неиз‘яснимым благоволением изволил сказать ему: „Ты можешь оставаться спокоен: будь покоен“. И этой фразы было достаточно для того, чтобы Глинка исписывал целые листы со всевозможными подробностями об обществе.

Николая Бестужева царь принял ласково и, заметив в нем чувства страстной любви к отечеству, сказал ему: „Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, готов простить вам“.

Со Штейнгелем, отцом не малочисленного семейства, человеком далеко не молодым, Николай обошелся иначе, да так, что он на всю жизнь не забыл подробностей своей встречи с царем. „Штейнгель, и ты тут?“ — сказал государь.— „Я только был знаком с Рылеевым“, — отвечал я. — „Как, ты родня графу Штейнгелю?“—„Племянник его и ни мыслями, ни чувствами не участвовал в революционных замыслах; и мог ли участвовать, имея кучу детей!“—„Дети ничего не значат,— прервал государь,— твои дети будут мои дети! Так ты знал о их замыслах?“—„Знал, государь, от Рылеева?“—„Знал и не сказал, не стыдно ли?“—„Государь, я не мог и мысли допустить дать кому-нибудь право назвать меня подлецом!“—„А теперь как тебя назовут?“— спросил государь саркастически, гневным тоном. Я нерешительно взглянул в глаза государя и потупил взор. „Ну, прошу не прогневаться, ты видишь, что и мое положение не завидно“, сказал государь с ощутительною угрозою в голосе и повелел отвести в крепость. Одно воспоминание об этой минуте, через столько лет, приводит в трепет. „Твои дети будут

мои дети“ и это „прошу не прогневаться“ казались мне смертным приговором. *С этой минуты я был уже не в нормальном положении*“.

— Говорите всю правду,—сказал Николай Павлович Басаргину перед допросом,—а если скроете что-нибудь, то пеняйте на себя.

Метод устрашения и стремительного нападения Николай Павлович применил к Лореру и Якушкину, осведомившись об их отказе назвать соучастников.

„Я—вспоминал Лорер —мысленно стал готовиться, чтобы суметь ответить государю прилично, но с чувством собственного достоинства... Оправдываться я не хотел, да и не для чего... Недолго продолжались мои приготовления, послышался шум, и Левашев, заглянув ко мне за ширмы, просил меня пожаловать. Из другого конца длинной залы шел государь в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы. Лицо его было бледно, волосы вз‘ерошены... Никогда не удавалось мне его видеть таким. Я твердыми шагами пошел было ему навстречу, но он издали еще движением руки меня остановил, и сам тихо подходил ко мне, меряя меня глазами... Я почтительно поклонился.

„Знаете ли вы наши законы?“ начал он. „Знаю, ваше величество“. —„Знаете ли, какая участь вас ожидает? Смерть!“ и он показал, проведя рукой по своей шее. Я молчал.

„Чернышев вас долго убеждал сознаться во всем, что вы знаете и должны знать, а вы все финтили. У вас нет чести, милостивый государь“. Тут я невольно вздрогнул, у меня захватило дыхание, и я невольно проговорил: „Я в первый раз слышу это, государь“... Государь сейчас опомнился и уже гораздо мягче продолжал: „Сами виноваты, сами... Ваш бывший полковой командир погиб; ему нет спасения... А вы должны мне все сказать... Вы пользовались его дружбой и должны мне все сказать, слышите ли... а не то погибнете, как и он“... „Ваше величество,—начал я — я — ничего более не могу прибавить к моим показаниям в ответных моих пунктах... Я никогда не был заговорщиком, якобинцем, всегда был противник республики, любил покойного государя императора и только желал для блага моего

отечества коренных правдивых законов. Может-быть, и заблуждался, но мыслил и действовал по своему убеждению“... Государь слушал меня внимательно и вдруг, подойдя ко мне быстро, взял меня за плечи, повернул к свету лампы и посмотрел мне в глаза. Тогда движение это и действие меня удивило, но после я догадался, что государь, по суеверию своему, искал у меня глаз черных, предполагая их принадлежностью истых карбонариев и либералов. Но у меня он нашел глаза серые и вовсе не страшные. Государь сказал что-то на ухо Левашеву и ушел.

Разговор его с Якушкиным тоже необычайно ярок и красочен.

— Вы нарушили вашу присягу?

— Виноват, государь.

— Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что ожидает вас на том свете, должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить: я пришлю к вам священника. Что же вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь, от меня?

— Я, кажется, говорю вам довольно ясно; если не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами не обращались как с свиньей, то вы должны во всем признаться.

— Я дал слово не называть никого; все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству,— ответил я, указывая на Левашева, стоящего поодаль в почтительном положении.

— Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом!

— Назвать, государь, я никого не могу.

Новый император отскочил три шага назад, протянул ко мне руку и сказал: „заковать его так, чтоб он пошевелиться не мог“.

Собственноручная записка Николая Первого, при которой Якушкина препроводили из дворца в крепость, была следующего содержания: „Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа; поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея“. Но Якушкин был одним

из всех совсем немногих, на кого не подействовали ухищрения Николая. Правда, примененному здесь методу нельзя отказать в значительной доле грубости. Животный страх смерти, физических мук был чужд декабристам. Этим страхом, быть может, отмечен только один князь С. П. Трубецкой, в слезах целовавший руки Николая Павловича и моливший о жизни. Трубецкой вымолил себе жизнь ценой подробнейших признаний. Его избрание в диктаторы — удивительная насмешка судьбы над декабристами.

Декабристов, искренних и увлекающихся людей, энтузиастов, можно было поймать на благородство. Нужно было запрятать глубоко свою ненависть к ним, разыграть роль человека, заботящегося только о том, чтобы родина избавилась, наконец, от зол и бедствий. И Николай Павлович прекрасно разыгрывал эту роль. Он прикидывался почти их единомышленником. В разговорах с ними он, казалось, разделял все их мнения о неустройстве родины и средствах исправления всех зол. Он сумел вселить в них уверенность что он-то и есть тот правитель, который воплотит их мечтания и облагодетельствует Россию. Вскрывалось роковое недоразумение: они шли с оружием в руках на друга своего дела. Вооруженное восстание оказывалось не нужным и гибельным. Нужно—это было так очевидно—предупредить вспышки в других местах России, лишить возможности действовать тех, кто еще оставался на свободе. Только такая психология, созданная под впечатлением тонкой, артистической игры царя-следователя, об'ясняет буквально взрыв признаний, раскаяний, оговоров, оглашавших царский кабинет в Зимнем дворце. „Опыт показал — писал в первом своем показании 14-го декабря Рылеев,— что мы мечтали, полагаясь на таких людей, как князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на юге, я *долгом совести и честного гражданина* почитаю об'явить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы тамо не вспыхнуло возмущения“. И почти все они на первых же допросах спешили предупредить возможное возмущение и возможные действия со стороны остаю-

щихся на свободе. Они выдавали поголовно всех соучастников, казалось, забыв об участи, их ожидающей. Правда, Николай Павлович усыплял их беспокойство, представляя грядущее наказание незначительным. Каховский и Пестель, например, совершенно не ждали смертной казни. Чрезвычайно характерные подробности передает Д. И. Завалишин об убеждениях, исходивших от комитета и священника и повторявших, быть может, речи самого Николая. „Неужели же вы думаете,— говорили обвиняемым,— что для государя важно наказать несколько человек? Вот он не только простил Суворова, но и произвел его в офицеры за его откровенность, потому что он об‘яснил ему, почему его образ мыслей был республиканский. На той высоте, на которой стоит государь, нельзя ему не видеть того, что признает и всякий умный и образованный человек, что если отдельные лица и могут быть виноваты, то были же общие законные причины неудовольствия, если они могли увлечь такую массу людей вопреки их личным интересам. Поэтому ясно, для государя важнёе знать эти общия причины, нежели виновность того или другого лица.

„Вы знаете, что у высокопоставленных людей в решении государственных дел политические соображения стоят выше всего. Вы знаете, что после этих соображений даже прямые участники в смерти Петра III и Павла не только не подверглись ответственности, но и были возведены на высшие государственные звания. Мы уверены, что по раскрытии всего дела будет об‘явлена всеобщая амнистия. Говорят уже, что государь даже выразился, что удивит Россию и Европу“. Так притуплялось острое чувство ответственности перед другими членами, чувство боязни перед карами.

Все письма декабристов из крепости, все показания переполнены восхвалениями милосердия государя, милосердия, не грядущего, а настоящего. Он умело возбуждал столь свойственное благородным людям чувство благодарности.

Тем, кто смертельно тосковал о судьбе жены, детей, он обещал свои царственные заботы и, действительно, заботился. Заканчивая свое признание, 16 декабря Рылеев писал царю: „Свою судьбу вручаю тебе, государь: я отец семейства“.

Так, после этих слов Николай Павлович даже 2.000 рублей прислал жене Рылеева, и Рылеев стал его. „Молись богу за императорский дом,— писал Рылеев жене 28 декабря,— я мог заблуждаться, могу и вперед, но быть неблагодарным не могу. Милости, оказанные нам государем и императрицей, глубоко врезались в сердце мое. Что бы со мной ни было, буду жить и умру для них“. Император Николай пригрел детей и повесил отца.

Тем, кто страдал об отце или матери, он разрешал писать или давать свидания. И он удивительно умел обставлять эти разрешения писем и свиданий: заключенным они казались результатом глубочайшего милосердия, а не обычным и должным выражением человеческого отношения. И опять размягчалось благодарное сердце, и развязывался язык. Князь Оболенский на первых допросах открыл многое и многих, но не все и не всех. Многие остались скрыты в сердце его. „Мог ли я тою самою рукой,— писал кн. Оболенский царю,— которая была им залогом верности, предать их суду, тобою назначенному... Я не в силах был исполнить сей жестокой обязанности“.

Но... царь разрешил передать кн. Оболенскому письмо его престарелого отца, нежно им любимого. Тут благодарное сердце не выдержало. „Вера, примирив меня с совестью моею, вместе с тем, представила высшие отношения мои; *милосердие же твое, о государь, меня победило*. В то время, когда я лишился всех надежд, когда темница сделалась мой мир, а голые стены оной — товарищами моей жизни, манием благотворной руки твоей письмо отца моего, как ангел-утешитель, принесло спокойствие и отраду душе моей. Благодеяние твое, монарх милосердный, воззрение твое на мольбу семидесятилетнего старца — останется незабвенным в душе моей. И потому, видя в тебе не строгого судью, но отца милосердного, я, с твердым упованием на благость твою, повергаю тебе жребий чад твоих, которые не поступками, но желаниями сердца могли заслуживать твой гнев“. Но как актер, играющий короля, в действительности не имеет в своей душе ничего королевского, так и Николай Павлович, игравший роль благородного гражданина, был совершенно

чужд истинному благородству. И милосердие оказалось только на словах. Взяв от своих жертв все, что было можно и нужно взять, он подверг их жесточайшим наказаниям. Он, так много выигравший от чувства благодарности, живущего в благородном сердце, отстранил от самого себя малейшие обязательства признательности и благодарности.

Итак, государь выдавал себя не за того, кем он был на самом деле: государь играл. В дни и месяцы сыска над декабристами Николай Павлович показал свое лицо в неожиданном, зловещем освещении. Царь-актер, искусно меняющий личины... Из этой его духовной сущности, открывшейся в начале царствования, мы должны исходить, если желаем понять его личность, его образ действия во всей последующей жизни. Он всегда умел провести наблюдателей, которые простодушно верили в его искренность, благородство, смелость, а ведь он только играл. И Пушкин, великий Пушкин, был побежден его игрой. Он думал в простоте души, что царь почтил в нем вдохновенье, но дух державный в нем не жесток... А для Николая Павловича Пушкин был просто шалопаем, требующим надзора. Снисходительность же об'ясняется исключительно желанием и из поэта извлечь возможно большую выгоду...

П. Е. Щеголев.

Эпиграммы на Николая I.

I.

Едва царём он стал —
И разом начудесил:
Сто двадцать человек тотчас в Сибирь послал
Да пятерых повесил!..

II.

Великий государь,
Ты наших бед виновник:
Хотя плохой ты царь, —
Зато лихой полковник!..

III.

К бюсту Николая I.

Оригинал похож на бюст:
Он так же холоден и пуст...

А. С. Пушкин.

Экзекуция.

Настала полночь. Священник со святыми дарами вышел от Кондратия Федоровича; *) вышел и от Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, вышел и от Петра Каховского и от Михаила Бестужева-Рюмина. Пастор напутствовал Павла Ивановича Пестеля.

Я не спал; нам велено было одеваться; я слышал шаги, слышал шопот, но не понимал их значения. Прошло несколько времени, — слышу звук цепей. Дверь отворилась на противоположной стороне корридора; цепи тяжело зазвенели. Слышу протяжный голос друга неизменного, Кондратия Федоровича Рылеева: *„простите, простите, братья!“*, и мерные шаги удалились к концу коридора. Я бросился к окошку; начинало светать; вижу взвод Павловских гренадеров и знакомого мне поручика Пильмана; вижу всех пятерых, окруженных гренадерами с примкнутыми штыками. Знак подали и они удалились. И нам сказано было выходить. И нас повели те же гренадеры, и мы пришли на эспланаду перед крепостью. Все гвардейские полки были в строю. Вдали я видел пять виселиц; видел пятерых избранников, медленно приближающихся к роковому месту. Еще в ушах моих звенели слова: *„Конфирмация-декорация“*; еще надежда не оставляла меня. С нами скоро кончили: переломили шпаги, скинули мундиры и бросили в огонь; потом, надев халаты, тем же путем повели обратно в ту же крепость. Я опять занял тот же номер в Кронверкской куртине.

Избранные жертвы были готовы. Священник Петр был с ними. Он подходит к Кондратию Федоровичу и говорит слово увещательное. Рылеев взял его руку, поднес к сердцу и говорит: „слышишь, отец, оно не бьется сильнее прежнего“. Все пятеро взошли на место казни, и казнь совершилась...

Дек. Е. Н. Оболенский.

---

*) Рылеев.

Казнь пяти.

Всех осужденных по делу Четырнадцатого, — их было 116 человек, кроме пяти приговоренных к смертной казни, — выводили на экзекуцию — „шельмование“. Собрали на площади перед Монетным двором, построили отделениями по роду службы и вывели через Петровские ворота из крепости на гласис Кронверкской куртины, большое поле-пустырь; здесь когда-то была свалка нечистот, и теперь еще валялись кучи мусора.

Войска гвардейского корпуса и артиллерия с заряженными пушками окружили осужденных полукольцом. Глухо, в тумане, били барабаны, не нарушая предрассветной тишины. У каждого отделения пылал костер и стоял палач. Прочли сентенцию и начали производить шельмование.

Осужденным велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, ордена и бросали в огонь. Над головами ломали шпаги. Подпилили их заранее, чтобы легче переламывать; но иные были плохо подпилены, и осужденные от ударов падали. Так упал Голицын, когда палач ударил его по голове камер-юнкерской шпагою.

— Если ты еще раз ударишь так, то убьешь меня до смерти, — сказал он палачу, вставая.

Потом надели на них полосатые больничные халаты. Разбирать их было некогда: одному на маленький рост достался длинный, и он путался в полах; другому на большой — короткий; толстому — узкий, так что он едва его напяливал. Нарядили шутами. Наконец, повели назад в крепость.

Проходя мимо Кронверкского вала, они шептались, глядя на два столба с перекладиной:

— Что это?

— Будто не знаете?

— Да уж очень на *нее* не похоже.



Петр Григорьевич КАХОВСКИЙ.

— Нет, не видал.

— Никто не видел: это за нашу память — первая.

— Первая, да, чай, не последняя.

— Шутка нехитрая, а у нас и того не сумели: немец построил.

— Из русских и палача не нашли: латыша какого то аль чухну выписали.

— Да и то, говорят, плохонький: пожалуй, не справится.

— Кутузов научит: он мастер—на царских шеях выучен!

Смеялись: так иногда люди смеются от ужаса.

— И чего копаются? В два часа назначено, а теперь уж пятый.

— В Адмиралтействе строили; на шести возах везли; пять прибыло, а шестой, главный, с перекладиной, где-то застрял. Новую делали, вот и замешкались.

— Ничего не будет. Только пугают. „Конфирмация— декорация". Прискачет гонец с царскою милостью.

— Вон, вон, кто-то скачет, видите?

— Генерал Чернышев.

— Ну, все равно, будет гонец.

И опять на *нее* оглядывались.

— На качели похожа.

— Покачайтесь-ка!

— Нет, не качели, а весы, — сказал Голицын. Никто не понял, а он подумал: „На этих весах Россия будет взвешена".

К столбам на валу подскакали два генерала, Чернышев и Кутузов. Спорили о толщине веревок.

— Тонки—говорил Чернышев.

— Нет, не тонки. На тонких петля туже затянется,— возражал Кутузов.

— А если не выдержат?

— Помилуйте, мешки с песком бросали, — восемь пудов выдерживают.

— Сами делать пробу изволили?

— Сам.

— А вы ее видели?

— Ну, так вашему превосходительству лучше знать,— усмехнулся Чернышев язвительно, а Кутузов побагровел— понял: царя *) удавить сумел, сумеет — и цареубийц.

— Эй, ты, не забыл сала? — крикнул палачу.

— Минэ-ванэ, минэ-ванэ... — залепетал чухонец, указывая на плошку с салом.

— Да он и по-русски не говорит, — сказал Чернышев и посмотрел на палача в лорнет.

Это был человек лет сорока, белобрысый и курносый, немного напоминавший императора Павла I. Вид имел удивленный и растерянный, как спросонок.

— Ишь, розиня, все из рук валится. Смотрите, беды наделает. И где вы такого дурака нашли?

— А вы, что ж не нашли умного? — огрызнулся Кутузов и от'ехал в сторону.

В эту минуту пятеро осужденных выходили из ворот крепости. В воротах была калитка с высоким порогом. Они с трудом подымали отягченные цепями ноги, чтобы переступить порог. Пестель был так слаб, что его должны были приподнять конвойные.

Когда взошли на вал и проходили мимо виселицы, он взглянул на нее и сказал:

— Могли бы и расстрелять.

До последней минуты не знал, что будут вешать.

С вала увидели небольшую кучу народа на Троицкой площади. В городе никто не знал, где будут казнить: одни говорили — на Волковом поле, другие — на Сенатской площади. Народ смотрел молча, с удивлением: отвык от смертной казни. Иные жалели, вздыхали, крестились. Но почти никто не знал, кого и за что казнят: думали, — разбойников или фальшивомонетчиков.

Опять, в последнюю минуту, что-то было не готово, и Чернышев с Кутузовым заспорили, едва не поругались.

Осужденных посадили на траву. Сели в том же порядке, как шли: Рылеев рядом с Пестелем, Муравьев — с Бестужевым, а Каховский — в стороне один.

*) Павла I.

Рылеев, не глядя на Каховского, чувствовал, что тот смотрит на него своим каменным взглядом: казалось, что, если бы только остались на минуту одни, — бросился бы на него и задушил бы. Тяжесть давила Рылеева: точно каменные глыбы наваливались, — и он уже не отшвыривал их как человек на маленькой планете—легкие мячики: глыбы, тяжелели, тяжелели неимоверною тяжестью.

— Странная шапка. Должно быть не русский? — указал Пестель на кожаный треух палача.

— Да, верно, чухонец,—ответил Рылеев.

— А рубаха красная, палачей одевают в красное, — продолжал Пестель и, помолчав, указал на второго палача, подручного: — а этот маленький похож на обезьяну.

— На Николая Ивановича Греча, — усмехнулся Рылеев.

— Какой Греч?

— Сочинитель.

— Ах, да, Греч и Булгарин.

Пестель опять помолчал, зевнул и прибавил:

— Чернышев не нарумянен.

— Слишком рано: не успел нарядиться, — об'яснил Рылеев.

— А костры зачем?

— Шельмовали и мундиры жгли.

— Смотрите, музыканты, — указал Пестель на стоявших за висилецей, перед эскадроном лейб-гвардии Павловского гренадерского полка, музыкантов. — Под музыку вешать будут, что-ли?

— Должно быть.

Так все время болтали о пустяках. Раз только Рылеев спросил о Русской Правде, но Пестель ничего не ответил, а махнул рукой.

Бестужев, маленький, худенький, рыженький, вз'ерошенный, с детским веснушчатым личиком, с не испуганными, а только удивленными глазами, похож был на маленького мальчика, которого сейчас будут наказывать, а может быть и простят. Скоро-скоро дышал, как будто всходил на гору: иногда вздрагивал, всхлипывал, как давеча, во сне; казалось, вот-вот расплачется, или опять закричит

не своим голосом: „Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?“ Но взглядывал на Муравьева и затихал, только спрашивал молча глазами: „Когда же гонец?“ — „Сейчас“, — отвечал ему Муравьев также молча, и гладил по голове, улыбался.

Подошел о. Петр с крестом. Осужденные встали.

— Сейчас? — спросил Пестель.

— Нет, скажут, — ответил Рылеев.

Бестужев взглянул на о. Петра, как будто и его хотел спросить: „Когда же гонец?“. Но о. Петр отвернулся от него с видом почти таким же потерянным, как у самого Бестужева. Вынул платок и вытер пот с лица.

— Платок не забудете? — напомнил ему Рылеев давешнюю просьбу о платке государевом.

— Не забуду, не забуду, Кондратий Федорович, будьте покойны... Ну, что ж они... Господи! — заторопился о. Петр, оглянулся: может быть, все еще ждал гонца, или думал: „Уж скорее бы!“ и подошел к обер-полицеймейстеру Чихачеву, который, стоя у виселицы, распоряжался последними приготовлениями. Пошептались, и о. Петр вернулся к осужденным.

— Ну, друзья мои... — поднял крест, хотел что то сказать и не мог.

— Как разбойников, провожаете, о. Петр, — сказал за него Муравьев.

— Да, да, как разбойников, — пролепетал Мысловский; потом вдруг заглянул прямо в глаза Муравьеву и воскликнул торжественно: — „Аминь глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раю!“.

Муравьев стал на колени, перекрестился и сказал:

— Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию!

Наклонился, поцеловал землю и потом — крест.

Бестужев подражал всем его движениям, как тень, но, видимо, уже не сознавал, что делает.

Пестель подошел ко кресту и сказал:

— Я, хоть и не православный, но прошу вас, о. Петр, благословите и меня на дальний путь.

Тоже стал на колени; тяжело-тяжело, как во сне, поднял руку, перекрестился и поцеловал крест.

За ним—Рылеев, продолжая чувствовать на себе каменно-давящий взгляд Каховского.

Каховский все еще стоял в стороне и не подходил к о. Петру. Тот сам подошел. Каховский опустился на колени медленно, как будто нехотя, также медленно перекрестился и поцеловал крест. Потом вдруг вскочил, обнял о. Петра и стиснул ему шею руками так, что, казалось, задушит.

Выпустив его из об'ятий, взглянул на Рылеева. Глаза их встретились. „Не поймет", подумал Рылеев, и страшная тяжесть почти раздавила его. Но в каменном лице Каховского что-то дрогнуло. Он бросился к Рылееву и обнял его с рыданием.

— Кондрат... брат... Кондрат... Я тебя... Прости. Кондрат... Вместе? Вместе?—лепетал сквозь слезы.

— Петя, голубчик... Я же знал... Вместе! Вместе!—ответил Рылеев, тоже рыдая.

Подошел обер-полицеймейстер Чихачев и прочел сентенцию. Она кончалась так:

— „Сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить".

На осужденных надели длинные, от шеи до пят, белые рубахи-саваны и завязали их ремнями вверху, под шеями, в середине, пониже локтей, и внизу, у щиколок, так что тела их были спеленуты. На головы надели белые колпаки, а на шеи—четыреугольные черные кожи; на каждой написано было мелом имя преступника и слово: „Цареубийца". Имена Рылеева и Каховского перепутали. Чихачев заметил ошибку и велел переменить кожи. Это была для всех страшная шутка, а для них самих—нежная ласка смерти.

Кутузов подал знак. Заиграла музыка. Осужденных повели. Виселица стояла на помосте; на него надо было всходить по деревянному откосу, очень отлогому. Всходили медленно, потому что скованными и связанными ногами могли делать только самые маленькие шаги. Конвойные поддерживали и подталкивали их сзади.

В это время палачи намазывали веревки салом. Старый унтер, гренадер, стоявший с краю шеренги, у виселицы, поглядывал на палачей и хмурился. Знал, как вешают людей: во время походов Суворовских, в царстве Польском, шпионов перевешал с дюжину. Видел, что веревки смокли от ночной росы: сало не пристанет,—туги будут; петля слабо затянется и может соскользнуть.

Осужденные взошли на помост и стали в ряд, лицом к Троицкой площади. Стали в таком порядке, справа налево: Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский.

Палач надевал петли. В эту минуту лица всех осужденных были одинаковы: спокойны и как будто задумчивы.

Когда уже петля была на шее Пестеля, в сонном лице его промелькнула мысль. Если бы можно было выразить ее словами, он думал так: „За ничто умираю или за что-то? Узнаю сейчас“.

Колпаки опускали на лица.

— Господи, к чему это? — сказал Рылеев. Ему казалось, что не только от пальцев, но и от желтого, обтянутого лоснящейся кожей, лица чухонца пахнет салом. Страшная тяжесть опять навалилась. Но Каховский улыбнулся ему,— и эту последнюю тяжесть он отшвырнул, как легкий мячик.

Улыбнулся и Муравьев Бестужеву: „Будет гонец?“— „Будет“.

Палачи сбежали с помоста.

— Готово? — крикнул Кутузов.

— Готово! — ответил подручный.

Чухонец изо всей силы дернул за железное кольцо в круглом отверстии, сбоку эшафота. Доска из под ног осужденных, как дверца люка, опустилась, и тела повисли.

„У-х!“ глухим гулом прогудело от кучки народа на Троицкой площади до войска, окружавшего виселицу: вся толпа, как земля от свалившейся тяжести, ухнула. Не сразу поняли: было пятеро, осталось двое,—где же трое?

— Э, чорт! Что такое? — закричал Кутузов с лицом перекошенным, пришпорил лошадь и подскакал.

О. Петр выронил крест, взбежал на помост и заглянул сначала в дыру, а потом — на три болтавшихся петли. Понял: сорвались.

Унтер был прав; на смокших веревках петли не затянулись, как следует, и соскользнули с шей. Повисли двое — Пестель и Бестужев, а трое — Каховский, Рылеев и Муравьев — сорвались.

Там, в черной дыре, копошились, страшные, белые, в белых саванах.

Колпаки упали с лиц. Лицо Рылеева было окровавлено. Каховский стонал от боли. Но взглянул на Рылеева,— и опять, как давеча, улыбнулись друг другу: „Вместе“?— „Вместе“.

Муравьев был почти в обмороке, но как глубокоспящий просыпается с неимоверным усилием, так он очнулся, открыл глаза и взглянул вверх; увидел, что Бестужев висит: узнал его по маленькому росту. „Ну, слава Богу,—подумал,— иной гонец иного царя уже возвестил ему жизнь“! А что сам будет сейчас умирать не второю, а третьей смертью,— не подумал. Опять закрыл глаза и успокоился с последнею мыслью: „Ипполит... маменька“...

Музыка затихла. В тишине, из кучки народа на Троицкой площади, послышался вопль, визг: там женщина билась в припадке. И опять, как давеча, по всей толпе, от площади до виселицы, прошло глухим гулом содрогание ужаса. Казалось, еще минута,— и люди не вынесут: бросятся, убьют палачей и сметут виселицу.

— Вешать! Вешать! Вешать скорей!—кричал Кутузов.— Эй, музыка!

Снова заиграла музыка. Трех упавших вытащили из дыры. Взойти на помост они уже не могли: взнесли на руках. Опустившуюся доску подняли. Пестель достал до нее носками и ожил: по замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал, благодаря малому росту: он один от второй смерти избавился.

Опять накинул петли и опустили доску. На этот раз все повисли, как следует.

Был час шестой. Солнце всходило в тумане, так же как все эти дни, тускло-красное. Прямо против солнца, между двумя черными столбами, на пяти веревках висели пять неподвижно-вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спеленутых. И солнце, тускло-кровавое, не запятнало кровью белых саванов.

Д. С. Мережковский.

ПАМЯТИ ПЯТИ

повешенных при Николае I декабристов.

В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года
Горячих первых упований,
Начальной жажды дел и знаний,
Попыток первого труда.
Мы были отроки*). В то время
Шло стройной поступью борцов —
Могучих деятелей племя,
И сеяло благое семя
На почву юную умов.

Везде шепталися. Тетради
Ходили в списках по рукам.
Мы, дети с робостью во взгляде,
Звучащий стих, свободы ради,
Таясь твердили по ночам.
Бунт, вспыхнул, замер. Казнь проснулась.
Вот пять повешенных людей...
В нас сердце, молча, содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась,
И путь означен жизни всей....

---

*) Здесь автор говорит о себе, о Герцене (с которым он рос) и др. людях 20-х годов пр. ст., воспитывавшихся под непосредственным влиянием революционного выступления декабристов.

Взойдет гроза на небосклоне,
И волны на берег с утра
Нахлынут с бешенством погони.
И слягут бронзовые кони
И Николая и Петра.
Но образ смерти благородной
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг ваш свободный
Святыней в памяти народной
На все грядущие года.

*Н. Огарев**).

Декабристам.

(Из Адама Мицкевича).

Вы помните-ль меня? Когда друзей в могилах
И в глубине темниц хочу я перечесть,
Считаю я и вас. В моих мечтах унылых
Для ваших бледных лиц гражданства право есть.

Вас нет теперь со мной. Рылеев благородный,
Кого я обнимал, как брата... О позор!
Задушенный петлей, повис, как труп холодный.
Бесславие устам, изрекшим приговор!

Рука Бестужева, сочувственным пожатьем
Сжимавшая мою, от бранного меча
И быстрого пера оторвана проклятьем
Жестокости людской... Моим в подмогу братьям
Трудится, цепь свою и тачку волоча.

Но рок иным послал еще ужасней долю.
Быть может, не один клейму подставил лоб
И честь свою попрал, на службу отдал волю,
И бьет у царских ног поклоны, как холоп.

---

*) Огарев, Ник. Плат., (1813—1877), известный поэт, друг и соратник Герцена, издававший вместе с ним журналы „Колокол" и „Полярную Звезду".

И, братьев оскорбив насмешливым упреком,
Слагает гимн побед продажным языком,
И дерзко хвалится бесстыдством и пороком,
И кровь моей страны*) багровым льет ручьем.

Пускай же речь моя из стран свободы дальной
Домчится на рубеж пустыни ледяной
И в край изгнания далекий и печальный
Приносит с воли весть, как журавли весной.

Узнайте мой призыв. Под бременем неволи
Я прятался, как змей, и голос свой таил.
Но молча я делил страданье вашей боли,
И кротость голубя для вас в душе хранил.

Теперь я перелил всю горечь скорбной чаши,
Все пламя тайных слез в крылатой песни звук.
Пусть вас щадит она, но жжет оковы ваши.
То кровь моей страны, то вопли долгих мук.

Но тот, кто жалобой прорвется малодушной,—
Да будет он, как пес, визжащий у крыльца,
Который так привык носить ошейник душный,
Что скалит острый клык руке великодушной,
Срывающей с него железный гнет кольца.

Перев. Тан.

---

*) Польши.

СОДЕРЖАНИЕ.

Цена 1 р. 50 к.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:

Издательство „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА".

МОСКВА, Тверская, 15. Пассаж. Телефоны: 2-56-86, 2-31-56
и в Отделениях Издательства:

Владивосток, Ленинская, 69.
Киев, ул. Ленина, 3.
Одесса, ул. Ленина, 11.
Тифлис, пл. Свободы, 3.
Баку, Коммунистическая, 49.
Ташкент, Джизагская, 13.
Харьков, ул. Свердлова, 22.
Свердловск, Нов. Гостин. Двор, 4.
Смоленск, Б. Советская, 10.
Витебск, Ленинская, 17.
Минск, Интернациональная, 6.
Самара, Советская, 111.
Ленинград, ул. Герцена, 19.
Саратов, М. Царицынская, 4.
Тверь, Солодовая, 26.
Н.-Новгород, ул. Свердлова, 30.
Новониколаевск, Красный Проспект, 28.

Главлит № 41893 Москва. Тираж 7.500 экз.

5-я типо-литография „Мосполиграф", Мыльников пер., 14.

СКЛАД ИЗДАНИЯ
Издательство „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

